



poCKET**book**

Марк ХАРИТОНОВ

Линии судьбы, или  
Сундучок Милашевича



**Марк Сергеевич Харитонов**  
**Линии судьбы, или**  
**Сундучок Милашевича**  
**Серия «PocketBook (Эксмо)»**

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=64854526](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64854526)*

*Линии судьбы, или Сундучок Милашевича: Эксмо; М.; 2021*

*ISBN 978-5-04-120983-4*

### **Аннотация**

Марк Харитонов (1937 г. р.) – советский и русский писатель, эссеист и переводчик – стал первым лауреатом премии «Русский Букер» за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» в 1992 г. Его проза и эссеистика была переведена на английский, французский, чешский, немецкий, голландский, португальский, китайский, японский, шведский, сербский и венгерский языки. Проза Марка Харитонova получила высокую оценку не только российских, но и зарубежных критиков: «Большого писателя распознаешь, как художника, по самой фактуре, по неподражаемому „колориту“, который ощущается во всех его работах» – Georges Nivat, Le Journal de Geneve.

Филолог Антон Андреевич Лизавин занимается исследованием жизни и творчества писателей-земляков 1920-х гг. Среди них – забытый литератор под псевдонимом Симеон

Милашевич, который вел обрывочные записи на оборотной стороне фантиков и хранил их в сундучке. Лизавин, изучая содержимое Сундучка Милашевича, пытается связать эти обрывки между собой, восстановить линии судьбы таинственного писателя. Реальность филолога Лизавина и его мысли, фрагменты жизни Милашевича и его хаотичные записи – все смешивается и выстраивается в один сложный многоуровневый текст.

# Содержание

1. В потемках	8
1	8
2	9
3	11
4	13
5	16
6	18
7	20
8	22
9	25
10	27
12	32
13	35
14	37
15	39
16	41
17	43
18	45
19	46
20	48
21	50
22	53
23	55

24	56
25	57
26	58
27	59
28	61
29	64
30	66
31	68
32	72
33	75
34	76
35	79
36	81
37	83
38	85
39	86
2. Линии судьбы, или Сундучок Милашевича	87
1	87
2	89
3	91
4	93
5	95
6	96
7	98
8	100
9	102

10	104
11	106
12	108
13	109
14	111
15	113
16	114
17	116
18	118
19	120
20	122
21	124
22	125
23	127
24	129
25	131
26	135
27	138
28	140
29	142
30	144
31	146
32	148
33	149
3. Детские игры	150
1	150

2	152
3	153
4	157
5	159
6	162
7	164
8	167
9	169
10	172
11	176
12	178
13	180
14	182
15	183
16	185
17	187
Конец ознакомительного фрагмента.	190

# Марк Харитонов

## Линии судьбы, или

### Сундучок Милашевича

#### 1. В потемках

##### 1

«Подплывая к калитке, я испытал вдруг укол странного, смещенного чувства, какое бывает, когда в пути спросонья не можешь понять места. Словно ты оказался перенесен на чужую планету: звон прозрачный в ушах, в воздухе серый свет, пахнет уксусом. В древесных коробчатых оболочках прячутся от сырости местные существа, через трубу на тмени выходит дым внутренней жизни, в глазницах попарно горшки с цветами, уставленные через водную гладь на своих визави, на заборы цвета заноз со следами меловых знаков: вроде бы латинские буквы икс, игрек, но дальше вместо зета черт знает что – не прочтешь».

Так начинается один из самых странных рассказов Симеона Милашевича «Откровение», занятной судьбе которого Антон Андреевич Лизавин посвятил наиболее заинтересованные страницы своей кандидатской диссертации о земляках-литераторах 20-х годов. Для его темы, правда, это была предыстория: появился рассказ еще в 1912 году, в первом и единственном номере петербургского альманаха «Дали», но он объясняет многое в дальнейшем, а потому и нам удобно с него начать. Обрывистые эпизоды не связаны здесь переходами и объяснениями, так что несколько растерянный поначалу читатель лишь задним умом берет в толк, по каким это бредовым водам подплывает к своему жилищу рассказчик, словно по венецианскому каналу. Речь идет всего-навсего о луже, что разливалась весной и осенью в городе Столбенеце ниже торговых рядов, на скрещенье Лебедянской, Псаревской и Солдатской улиц, подходя вплотную к заборам и покрывая пешеходные мостки. Лужа не пересыхала вполне и летом, она казалась такой же вечной, естественной частью пейзажа, как близлежащее Столбенецкое озеро, и Милашевич в другом рассказе обсуждал гипотезу, не составляла ли она когда-то с озером одно целое, обособясь лишь в результате геологических процессов.

Чтобы в разлив добраться с этой стороны к рядам Ба-

зарной площади, приходилось делать крюк через Аптекарскую горку, пока предприимчивые мальчишки не приспособились перевозить желающих за пятак на самодельном плоту. Юмористическую сценку перевоза Милашевич опубликовал однажды в столичном журнале «Сверчок», и в «Откровении» мальчик с шестом тоже незримо присутствует за спиной плывущего.

### 3

А в следующем эпизоде укол невнятной тревоги, как бы предчувствие, получает объяснение: нечаянный гость поджидал рассказчика в доме, товарищ прежних лет, университетский однокашник, проездом оказавшийся в городке. Они пьют чай. На оттоманке в углу, поджав под себя ноги и зябко укутав плечи румынской коричневой шалью, молча пристроилась Шурочка, жена хозяина. Гость представлен не по имени, а студенческим прозвищем Агасфер, которое, впрочем, можно счесть и нелегальной кличкой. (Тонкое насмешливое лицо с нервным вырезом ноздрей, возбужденный блеск глаз, дорожная щетина). Лизавин по некоторым намекам предположил, что этот человек добирается откуда-то из ссыльных глубин к Столбенецкой железнодорожной станции. При нем сундучок, столь драгоценный, что он даже не доверяет его прихожей, держит все время при себе, у ножки стула.

Этот многозначительный сундучок то и дело навязывается нашему взгляду: величиной с футляр от швейной машинки «Зингер», только поплоче, описанный, в манере Милашевича, до обшарпанных уголков, деревянной ручки и позеленелых латунных гвоздиков – недаром оттиснется его объемный вид в памяти Антона Андреевича. Так иногда в кино монтируют кадр, все более укрупняя, под тиканье часов, наводящее на мысль о взрывном механизме, во всяком случае

намекая, что в этом тикающем предмете кроется нечто существенное. Но в кино такой предмет рано или поздно должен взорваться или хотя бы раскрыться, ублажив душу зрителя музыкальным разрешением, осуществлением догадки. Увы, Милашевич нам такого естественного удовольствия не доставляет.

Свою роль сундучок, впрочем, сыграет: по ходу рассказа становится ясно, что пришелец болен, романтический блеск глаз оборачивается вполне материальным жаром, ему нельзя дальше идти, как он ни уверяет в обратном (сундучок где-то ждут), и бывлой товарищ, чтобы успокоить его, сам вызывается доставить нетерпеливую ношу на место. Он воспринимает этот неожиданный поворот с несколько даже комичным облегчением – до сих пор все ждал и не знал, какой тревогой обернется это вторжение. Дело в том, что всех троих, как нам исподволь открывается, связывает давняя история. Когда-то заезжий студент подбил юную девушку бежать из родительского дома в Москву, но сам вскоре исчез, поручив беглянку заботам приятеля; теперь после долгого отсутствия он нашел обоих на столбенецких берегах, и новоиспеченный супруг не зря озабочен душевным покоем женщины. Хотя бы потому, что этот Агасфер, сам о том не стараясь, распространяет вокруг себя дух смущающей, насмешливой трезвости, от него жухнут на подоконнике листья отцветшей герани, проступает в углах плесень, оголяется взгляд... Но пересказ тут мало что даст, лучше прочесть Милашевича. У него существен всегда не сюжет – он, считай, уже весь изложен, – а тот самый «укол смещенного чувства», который, заставляет разбирать по-латыни заборную надпись, над собой же

при этом посмеиваясь, существен сухой полумрак за спинами сидящих, свет керосиновой лампы, игра всполошенных теней, причудливых мыслей – зыбкий воздух повествования. Весь мотив неуверенности, тревоги, сомнения в ценностях угретой жизни, а может, и затаенного соперничества, мотив скорей музыкальный, чем сюжетный, передан через обращение к домашней тифле с мятым помпоном, с отошедшей, как губа, подошвой; трогательным пугливым зверьком она выглядывает из-под кровати (где край свесившегося покрывала оказывается грязноват и обтрепан до бахромы), замороженная и смущенная чужеродным присутствием, близостью элегантного, несмотря на грязь, ботинка (грязь элегантность эту даже усилила), загадочностью сундучка, который все рвется куда-то дальше, в непогоду, под ветреные небеса. Ничего, ничего, время от времени ободряет герой взглядом робкое существо. Мы знаем свое, они – свое. Они знают вовсе не больше нас. Этот запах уксусный – от тоски; я вас от него избавлю. Я всех вас, бедненьких, не оставлю, я вам вас самих объясню. Совсем без защиты, под голыми-то небесами – так трудно, так страшно! Попробуй выдержи. Нам ли не знать! Только начали согреваться, куда же еще? Отовсюду потянет вернуться, я знаю заранее, да ведь силы не у всех одинаковы... Занятно, что разговора вслух мы по сути не слышим, какой-то спор (похоже, не сейчас начатый), совершается как бы сам собой —: взять хотя бы эпизод, где герой, как к мысленному доводу, обращается к ощущениям детства, «когда

нам дано ведь было обитать среди комнатных вещей, словно в дебрях мироздания, между ножек столов и стульев, в пыльной пещере под кроватью, за одеяльной завесой, за крепостной стеной из подушек». Но что-то происходит с милыми предметами на наших глазах, содержимое жилья начинает заполнять пространство, пухнет, отнимая воздух у дыхания, самовар горит во лбу, лезет остьями пух сквозь ситец наперников, набивается в глотку, тикает что-то в висках, в сундучке, в воздухе – нам передается. жар заболевающего человека, и тут уж не о доводах речь, надо что-то по-человечески сделать, облегчить общее состояние.

Он выходит на улицу, в сапогах с галошами, в одной руке зонт, в другой сундучок. В прихожей зеркало проводило его попутным насмешливым отражением – единственный раз мы видим этого человека со стороны: «Мордочка печальной обезьяны в пенсне, перышки растительности вокруг увеличенных губ». К ночи прояснело, взошедшая луна освещает лужу, плот, брошенный у берега, – нелепый путник кое-как удерживается на нем, пристроив сундучок между ступней, чтобы не соскользнул. Он берет в руки шест и плывет по отражениям звезд, освещенных окон, плывет долго, как бывает во сне. Берега размыты, стены домов растворяются в темноте. Там, в драгоценных светящихся ореолах вокруг ламп сидят у самоваров люди, они набирают ложечкой малиновое варенье, колют ножом на столешнице голубой сахар, тянут с блюдечка чай выпяченными губами. Там пьяный маляр, лежа на низком топчане и пристроив на полу лампу, метит разноцветной масляной краской выползающих на свет тараканов, чтобы, дав затем каждому имя и даже отчество, наблюдать в суетливой их жизни, передвижениях и встречах смысл и сюжет. Там приезжий мужик, член загадочной секты дыромолов, просверлив в перегородке отверстие, а может, использовав пустой глазок в древесном узоре, молится шепотом, разносящимся под небесами: «Дыра моя, изба

моя, спаси меня!» Боже, думает плывущий на плоту, сколько веры, силы души и мысли нужно для такой молитвы, которую не поддерживает ни дивное искусство иконы, ни музыка псалмов, ни роскошное убранство церкви! – достаточно внутреннего убеждения, чтобы наделить скважину божественным слухом. На кровати, освещенной багровым пламенем из печи, никак не может разродиться женщина, ее уже поили мыльной водой и совали в рот собственные потные волосы, чтобы рвотой ускорить схватки, – по-животному измученная, она сама не способна почувствовать того великого, что совершается с ней, простой бабой, а вернее, через нее, думает плывущий. Ибо все мы бываем божественны, никто не прост, но этого не понять со стороны, вот в чем дело. «С инопланетных-то чужеродных высот как увидеть – ну, хоть безумие любовников Клеопатры? Существо некое вставляет отросточек тела своего в отверстие другого тела, дабы об него потереться, после чего оказывается лишено головы, а с ней – признаков жизни. Изнутри – любовь, потрясение, тоска и смерть, с высот – насекомое копошение... Я понял, я все вдруг понял, – бормочет повествователь. – Всю философию. Только так сразу не скажешь. Ничего. Подождите. Вернусь, чайку попьем, вместе выйдем на берег. Я объясню».

## 6

Критик Феноменов, единственный, кто удостоил малоизвестного новичка упоминания в своем ежемесячном обзоре, не без оснований отметил в рассказе невнятность, претендующую на многозначительность. Кто таков герой, как и зачем попал из университета в захолустье, чем здесь занимается, чем живет, куда, черт возьми, нужно так спешно доставить сундучок и что все-таки в нем? Бессмысленно задавать столь реалистические вопросы. Здесь все намеки, обиняки, модная недоговоренность, декадентское шевеление пятен, туманный символизм – ведь и сундучок этот, и туфля с помпоном конечно же не столько реальные предметы, сколько символы, призванные выразить идею рассказа: столкновение неких жизненных сил или позиций. Но опять же: считать ли всерьез идеей эту апологию убогого, косного и все же милого прозябания в противовес стремлению покончить с ним, изменить и улучшить жизнь, пусть даже что-то разрушив, кому-то причинив боль? Все здесь сомнительно. Причем отдельные частности свидетельствуют о явном таланте автора – может быть, потому, независимо от его намерений, именно в этой невнятице, порой чуть ли не бредовой вязкости, в этой невыявленности мысли и формы, как в невольном зеркале, отразились не случайные черты времени. Тут следовало рассуждения Феноменова о симптомах неблагополучия, и

не только литературного, об отказе от строгости, духовной и внешней, как проявлении распада, о соблазне саморазрушения, о тяге современного сознания вспять от цивилизации к мутной, женственной, болотистой стихии. Похоже, умному критику рассказ дал повод высказать заветные соображения, и весьма, кстати, серьезные, только Симеону Кондратьевичу они оказывали, пожалуй, слишком много чести.

Все предстало в свете куда более заурядном, когда в «Русском утре» появился фельетон известного Корионского «Литературные перепродажи», где неопровержимо, с попарной подборкой цитат, целых кусков, показывалось, что сюжет попросту украден Милашевичем у провинциального автора Богданова. У того рассказ назывался «Пришелец» и напечатан был тремя годами раньше в мало кому известном городке Нечайске, в типографии Ганшина, домашним тиражом 20 экземпляров – при таких обстоятельствах плагиатор, а по-русски, что жеманничать, – вор мог надеяться, что его не схватят за руку. Тем более что он, как у этой братии водится, позаботился о перекраске и перелицовке: изменил заглавие, подсунул пришельцу сомнительный сундучок вместо чемодана заграничной работы, нарезал помельче и переставил куски, что-то убрал, а кое-что и подшил из собственного материала, особенно по части философствований – лишь бы запудрить мозги. У Богданова звучит все реалистичней, серьезнее, проще, а некоторую недоговоренность, непроясненность намеков вполне можно объяснить осторожностью известного рода. Герой, недоучившийся студент, увез из Москвы любимую женщину (здесь ее зовут Верочкой), чтобы хоть на время укрыть ее от опасностей и тревог, которые вновь вторгаются в дом вместе с полубольным гостем: их связы-

вало не простое знакомство, тут нелегальщиной попахивает куда явственней; в калейдоскопе мысленных картинок мелькает однажды воспоминание героя об уличной стычке: на мостовой студенческая зеленая фуражка и шляпка женщины, у нее выпали шпильки, распустились светлые волосы, а близорукий герой не видит ничего, у него сшибли с носа очки, он наощупь, по стеночке, поднимается на ноги и лицом упирается в шинель городского... И мотив всколыхнувшейся ревнивой неуверенности здесь куда отчетливей, и сомнения в своей способности составить действительное счастье любимой; но главное, в порыве помочь обессилевшему другу сказывается, помимо всего, чувство возобновленного долга, а может, и попытка нового самоутверждения перед женщиной. Да вот хотя бы мелочь: свое отражение с увеличенной областью вокруг губ герой видит не в зеркале, а в усмешливом самоваре – не правда ли, такой портрет выглядит по-другому?

Но обо всех подробностях, вплоть до характерных исправлений языка, желающие могут посмотреть в кандидатской диссертации Лизавина, который многое в этой истории объяснил. Он прежде всего установил, что никакого плагиата на самом деле не было, перед нами авторская переделка собственного рассказа. Богданов была настоящая фамилия Милашевича, обычная фамилия незаконнорожденных (отчество таким дается по крестному отцу, а имя захолустные батюшки любят прописать помудренее – отсюда Симеон вместе Семен). Вымышленным же именем он впервые назвался, видимо, при аресте, а потом оставил себе как псевдоним. Да, был за ним и арест; Лизавин даже сумел отыскать в московском архиве следственное дело, по которому тот проходил, – «о заговоре с целью покушения на железной дороге». Это было и впрямь как будто о другом, неожиданном человеке – если не держать в уме обстоятельств злосчастного рассказа. Там фигурировала засада на раскрытой московской явке и чемодан с двойным дном (все-таки чемодан), где кроме револьвера и бумаг нелегального центра оказался взрывной механизм (все-таки тикало). При аресте Симеон Кондратьич, не имея при себе документов, назвался и был записан Милашевичем, «из мещан Пензенской губернии», родившимся 16 мая 1884 года. Без малого неделю он твер-

дил, что чемодан был ему ненароком подменен в буфете Николаевского вокзала, на вопрос, каким же образом он явился с ним точно по адресу и даже произнес заветное словцо, сочинил нечто уж вовсе неубедительное о подслушанном разговоре за соседним столом и что по этому адресу он, дескать, думал найти хозяина чемодана. Его сочли за столь важную птицу, что поместили в одиночку для особо опасных террористов с окном, замазанным посеревшими белилами, – Симеон Кондратьич ее потом поминал. На шестой день родилось собственноручное признание, которое можно считать первым наброском рассказа о неожиданном госте, только здесь дело происходило в московских номерах Ильина, женщина отсутствовала, а вместо гостя был заболевший сосед, просьбу которого пришлось уважить из невольного человеческого сочувствия. Он назвал также свою настоящую фамилию, запирательство же объяснил отчасти испугом, отчасти глупой романтической фантазией. Эта история, видимо, имела некоторый успех, во всяком случае временный, поскольку пребывание Богданова в ильинских номерах подтвердилось и даже найден был оставленный там паспорт. Протокол последующего допроса напоминал Лизавину игру, знакомую по литературоведческому опыту: следователь добивался подробностей, слишком зная, каких именно хочет, а чуткий арестант с готовностью их поставлял. Он постепенно вспомнил внешность постояльца, с усиками, узкой бородкой; на вопрос, не было ли над переносицей родимого пятна, вспом-

нил и родимое пятно; даже поделился, наконец, догадкой, не была ли болезнь этого человека притворной. На этом допросе том следственного дела обрывается, в следующем Милашевич-Богданов уже почему-то отсутствовал. Возможно, он был выделен в особое производство, которого разыскать не удалось, так что о приговоре мы узнаем лишь косвенно от самого Симеона Кондратьича: неизвестно, какое осталось за ним обвинение, но обошелся он трехлетней административной ссылкой в Нечайск, родной город Лизавина, где в 1909 году напечатан был рассказ Богданова, а затем перебрался поближе к железной дороге, в уже упомянутый Столбенец.

Сопоставление этих обстоятельств с рассказом конечно же поощряло воображение, которым Антон Андреевич был, надо сказать, не обижен. Он задавался, например, вопросом: не означало ли пятидневное заперительство, что именно этот срок недоучившийся медик рассчитанно выжидал, пока выздоровеет и исчезнет из его дома (или номера) заболевший человек? Возникали и другие попутные мысли, их, возможно, еще будет случай упомянуть. Но если вернуться к делам литературным, тут озадачивало другое: почему Симеон Кондратьич тотчас не поспешил объяснить возникшее недоразумение? Никто в столице не мог и не обязан был знать его обстоятельств. Он только перебрался сюда после ссылки, перебивался фельетонами, жанровыми картинками и «провинциальными фантазиями», печатая их в журнальчиках разного пошиба. Что мешало ему хотя бы показать обвинителям свое лицо, с которого, судя по единственной дошедшей фотографии (тюремный фас, профиля в деле почему-то не оказалось), довольно правдиво срисовано было насмешливое отражение? (В первоначальной попытке приписать его самовару есть какая-то грустная самозащита, от которой автор потом гордо отказался.) Между тем скандал, видно, всерьез подорвал для него возможность литературного заработка – многие редакционные двери, как можно по-

нять, оказались закрыты перед сомнительным типом. Смушал, возможно, не просто сам факт воровства, но еще прикус непонятого вызова. Не имея других средств к существованию, Милашевич одно время бедствовал не на шутку. Именно в тот год была нажита им язва желудка, которую он с таким знанием дела живописал в одном позднейшем рассказе: прижигание ляписом по тогдашней методе, вкус обволакивающей овсянки и черничного киселя – единственной дозволенной пищи. Герой рассказа, кассир, из-за своей неосторожной, неверно истолкованной шутки оказывается заподозрен в растрате, отстранен до проверки от должности, да потом так и не восстановлен. Знакомые от него отворачиваются, прислуга разговаривает через цепочку, он закладывает вещи в ломбарде и пестует свою язву, но сам объяснять невинность свою не желает – отчасти из самолюбия, отчасти из вязкого, как во сне, чувства, что проще жизнь изменить, подогнать под однажды сказанное слово, нежели от этого слова отказаться, – больше того, он даже испытывает анекдотическое удовлетворение шутника, удачно всех разыгравшего.

Разумеется, беллетристика – не документ, пользоваться ею для суждений об авторе можно лишь с понятными оговорками. Беда в том, что надежных документов о Милашевиче почти не дошло. О целых периодах его жизни можно судить лишь по косвенным отголоскам. Взять то же следственное дело. Вот, казалось бы, документ – но много ли извлечешь из него положительного? Не больше, чем из рассказа.

Хорошо, нашлась фотография, подтверждающая достоверность отраженного портрета, но разве и объектив не балуется иногда самоварным эффектом? Он ведь тоже выпуклый. Как и глаз, впрочем. Особенно глаз художника. К началу работы все сведения Антона Андреевича о Милашевиче исчерпывались единственным мемуарным свидетельством, о котором еще будет речь, да незавершенным автобиографическим наброском 1926 года. Ну, этот документ стоил показаний в следственном деле. Дата рождения здесь указывалась уже иная: 14 мая 1886 года. По ошибке ли перепутаны цифры, а если Милашевич умышленно соврал, то где именно? Остается гадать. Да, может, и сам точно не знал – поди доберись до церковно-приходских книг, где это могло быть записано. По поводу незаконного своего происхождения и бесприютного детства автор лишь мимоходом роняет фразу о родственном чувстве ко всем, «выпавшим из связи, общ-

ности, нигде не своим». Затем, не в порядке хронологии, а по случайному ходу мысли, сообщается факт недолгой учебы в Московском университете, сперва на естественном, затем на медицинском отделении. Тягу к естественным наукам Милашевич объясняет воспоминанием о детском чуде – увеличительном стекле и туманной мечтой о микроскопе. Здесь автобиография превращается в некую хвалу оптическим приборам. «Они ведь не только укрупняют предмет, но выделяют его из суетного пространства и фокусируют на нем взгляд. Обычно-то жизнь не воспринимаешь вплотную, как не воспринимаешь иной раз книгу, хотя водишь глазами по строчкам. И вдруг – волосатое брюшко мухи в цветочном растреубе, граненые угольные глазища, крупички пыльцы на точеной выделки тычинках, уходящих в нежную сказочную глубину». Далее, однако, читаем о разочаровании микроскопом, который скорее смутил, чем обогатил взгляд; можно подумать, что из-за этого именно разочарования автор не закончил даже второго курса, а не из-за участия в студенческих беспорядках. «Я все больше убеждался, что дело именно в обособлении, а не в укрупнении». И тут, после отступа, как это любит Милашевич, неожиданным эпизодом возникает описание странного дерева с перепончатым стволом и травянистыми листьями, похожего на растение доисторических болот; оно покачивается на ветру. Если смотреть, не отрываясь, можно увидеть, как оно растет, наслаждается влагой, как съеживается от похолодания, вздрагивает от упавшей те-

ни, от каких-то внутренних чувств, как потрясает его туша летучей чудовищной твари, от тяжести которой наклоняется ствол – и лишь тогда, не выдержав, наблюдатель предпочитает признать в твари навозную муху, а в дереве – травинку, выросшую на подоконнике, перед щелью, верней, царапиной в белме замазанного краской оконца. Мы, наконец, понимаем, что Симеон Кондратьевич описывает впечатления камеры-одиночки – важный урок обособленного взгляда, который и впрямь не нуждается в микроскопе, даже противопоставляет себя миру точных наук и положительного знания. Ему важнее другое. «На лугу вы бы этой травинки и не увидели. Можно ведь и луг пройти, не увидев». О самой же истории говорится скороговоркой в придаточном предложении: «когда я сидел здесь по делу о политическом покушении». И той же скороговоркой, под конец, сообщается о ссылке в Нечайск: «Так я впервые попал в родные места моей жены Александры Флегонтовны. Им суждено было со временем стать и моей второй родиной. Здесь мы после разлуки воссоединились окончательно с подругой моей жизни, здесь я пишу эти строки, прислушиваясь к ее дыханию за занавеской». Кстати, имя и отчество – единственное, что мы знаем об этой женщине, остальное приходится домысливать по рассказам, где безмолвное присутствие Шурочки ощущается не столько прямо, сколько во всяческом рукоделии, салфеточках, занавесках, наспинных подушечках, равно как в вареньях, масленичных блинах и прочих радостях провинциального быта,

которые так любовно вставляет в свои описания Милашевич.

Здесь, между прочим, задевает вот что: оказывается, героине рассказа, явно не лишённого автобиографического звучания, оставлено было подлинное имя любимой женщины. Конечно, жены художников, как говорится, особ статья, им обычна и роль натурщиц, и все же – не так это, знаете ли, просто. Как не просто у Милашевича и с автобиографизмом. В одном рассказе у него есть рассуждения о литературе как способе сказать про себя именно глубочайшую правду, не разоблачаясь перед публикой. Самораздевание недопустимо, предельная исповедь по многим причинам сомнительна – попробовал бы Достоевский, да любой из нас, исповедаться от своего лица наподобие Ставрогина! Порой возникает впечатление, что сам Симеон Кондратьевич больше всего старается не выдать что-то действительно задушевное, оттого все фокусничает, сочиняет – примерно как в разговорах со следователем – вплоть до совершенной фантастики. А как проговорится взаправду, уже не всегда и уловишь. Притом он постоянно сбивает с толку пристрастием к повествованию от первого лица. Занятна одна его миниатюра, этакий юмористический этюд про человека, который вел одновременно пять дневников от пяти разных лиц, и каждый был о себе. Или взять концепцию «переносного глаза», как это называл Милашевич. Речь идет о стремлении воспринимать мир изнутри других существ, проникаясь их внутренней правдой; как, например, в рассказе про тополь, срубленный, чтобы не

заслонял свет фикусу на окошке, вернее, про фикус, которому застил свет тополь, тут существен именно его, фикусов, взгляд. Без предуведомления не сразу поймешь, кто это жалуются, требует сочувствия, тоскует, укоряет – и вдруг полный вздох, восторг освобождения: да здравствует солнце, да здравствует свет, богатство и радость жизни! Вот улица видна и братья-лопухи на ней, вот собака подходит к забору задрасть лапку. Под конец фикус начинает даже изъясняться стихами: «Свобода, блаженство, и дали открыты для нас!»

Нет, в выходке с подлинным именем есть что-то для Милашевича необычное. (Да еще в рассказе, где как раз очерчивается стремление освободиться от гнета строгой реальности.) Как бы ее ни объяснять, думал Лизавин, позволить себе такое можно было лишь в совершенно чужом Петербурге. В Нечайске или Столбенеце, где тебя могли узнать, Симеон Кондратыч старался ограждать семейную жизнь от нескромных взглядов. Тем более что Александра Флегонтовна и родом была откуда-то из этих краев. Но тут интересно еще вот что. Оказывается, в Столбенец Милашевич впервые попал лишь после событий, нашедших отзвук в рассказе, перед арестом он еще проживал в Москве. Стало быть, провинциальный оттенок привнесен в тему уже задним числом, причем именно в петербургском варианте это звучит по-настоящему вызывающе. Очевидно, как раз к той поре стали оформляться черты того, что Лизавин называл провинциальной философией Милашевича. Идеи ее нигде не изложены систематически, а приписаны разным беллетристическим персонажам. Она вообще чужда всяким системам и не нуждается в доказательствах. Ее правда – в способности обеспечить внутреннюю гармонию и наделить чувством счастья независимо от внешнего устройства жизни. Она не претендует на величие, ее сила – именно в общедоступно-

сти. «Все философии создаются для нас великими людьми, – рассуждает у него один персонаж, – а кем же еще? – по своей мерке, вот начало несоответствия. Они, эти великие, могут искренне заботиться о нас и звать куда-то к привидевшейся им истине, только меркой своей не поступятся, вот исток разочарования, тоски, неприкаянности». Важно сразу подчеркнуть, что провинция у Милашевича – не географическое понятие, а категория духовная, способ существования, она коренится в душе человека независимо от места жительства. И все-таки в этой поэзии незамысловатого мещанского уюта, печного тепла, летней пыли, весенней грязи, вечернего мытья ног, чаепитий в саду под яблонькой слишком много связано с миром Нечайска и Столбенца; когда их певец сам пытается обосноваться на правах литератора в столице, это, согласимся, придает несколько отвлеченный оттенок провозглашенному как будто в «Откровении» обещанию вернуться. Лизавин позволил себе на сей счет кое-какие психологические домыслы. Возможно, именно петербургский эпизод положил конец каким-то колебаниям Милашевича. Только представить себе этого природного провинциала, близорукого, путаного, нескладного, в белом летнем картузе, горячих пыльных сапогах, потной косоворотке или толстовке позднейших времен... нет, не мог он себя почувствовать своим среди отутюженной столичной публики. Возможно, в литературном недоразумении он увидел подсказку, этакий направляющий шлепок судьбы, который убе-

дид преодолеть малодушный соблазн, самолюбиво и гордо вернуться к себе в Столбенец, где можно было без оглядки на чужой вкус выстраивать вокруг себя мир непритязательного счастья и доступной, как в детстве, гениальности.

Конечно, домыслы есть домыслы; тут законен вопрос: не подгонял ли отчасти Антон Андреевич под собственное свое понимание автора, к которому с первого же знакомства ощутил душевную симпатию, даже родственную близость? Не станем сразу возмущенно это опровергать. Не занимаемся ли мы все чем-то подобным, когда толкуем книгу всякий на свой лад? – ведь она говорит нам то, что мы предрасположены или склонны услышать. Лизавин в душе не чужд был даже и сочинительству. Порой ему мерещилось нечто совсем уж рискованное. Например, что вынужденная разлука с Шурочкой оказалась для Милашевича более долгой, чем он сам дает понять, что нотка ревнивого соперничества, особенно в первом варианте рассказа, выдает уязвленные чувства, однако уже петербургский вариант свидетельствует о новом самоутверждении, и подлинное имя вновь обретенной женщины вставлено как сигнал торжества, тайно обращенный куда-то в пространство... Но это уже, как говорится, вовсе литература. Заметим лишь, что не случайно, видимо, в юмористических философствованиях Милашевича такое место занимает тема судьбы, которая осуществляется через самые невероятные случайности. Как причудливо складывается до поры собственная жизнь этого человека (насколько мы о ней можем судить): необязательная учеба, неточные, пробные увле-

чения, и вот однажды неожиданный гость, его непредвиденная болезнь, вынужденный уход из дома, поневоле затянувшееся отсутствие, ссылка и возвращение, недоразумение с плагиатом, как будто нарочно придуманное – а в результате он приходит к тому, для чего, как теперь кажется, был создан и предназначен по устройству души и ума.

Как бы там ни было, после недолгой отлучки, вынужденный искать средства пропитания вне литературы, Милашевич снова оказывается, теперь уже добровольно, в месте своей бывлой ссылки. Лизавину Столбенец был хорошо знаком: здесь он пересаживался с электрички на автобус по пути в Нечайск. По неизвестным причинам железную дорогу проложили когда-то в трех верстах от города и там учредили станцию. У Милашевича есть забавная сценка, где подвыпивший пассажир, высадясь в Столбенеце и не обнаружив окрест города, пугается, что не там сошел. С годами город и станция постарались подтянуться друг к другу, растеклись вдоль дороги жиденькими строениями – как амебы, что ли, подтягивающие друг к другу отростки, – пока не слились. Благо место было пологое, дававшее простор, не то что в Нечайске. Столбенец распластался почти вровень с озером, климат тут считался нездоровым, особенно в жару, когда вода зацветала. Зато на озерном донном иле и лыве – земле из перегнивших водорослей – выращивали редкостные урожаи знаменитых «белолобых» огурцов: полсотни таких вот громадных из одного семечка. Близость железной дороги делала Столбенец по сравнению с Нечайском центром городской цивилизации. Здесь раньше появилось электричество, было даже кино – электротئاتр «Грезы» (нынешний кино-

театр «Прогресс»), а среди промышленности, обычной для мелких городков, то есть дубления кож, обжига кирпичей да извести-кипелки, выделялась карамельная фабрика Ганшина, снабжавшая сладким товаром всю губернию.

В краеведческой книге о Столбенце, изданной в 1922 году, есть фотография тогдашнего города: скопление серых, как сараюшки, построек (вспоминается «цвет заноз» у Милашевича) вдоль такого же серого озерного пятна. Тусклость отчасти надо, конечно, отнести за счет ужасной печати; тот же Милашевич свидетельствует, что лучшие дома, во всяком случае, были когда-то окрашены в модные «съедобные» цвета, а именно шоколадный, крем-брюле или сливочного мороженого. Да и главы трех видных на снимке церковей наверняка были нарядней (одна до сих пор уцелела), и озеро отражало же небеса, а в благодатное время года разливалась и зелень, и сады цвели. Можно, конечно, считать, что листва, а тем более цветы, как слова поэзии, прикрывают и несколько приукрашивают скудную основу жизни – но кто сказал, что в оголенном пейзаже больше правды? Сделан краеведческий снимок ранней весной или осенью, по всему судя, с холма, где сохранились остатки укрепленного городища с земляными валами. Городище называлось «столпье» и дало имя городу. Когда-то валы были излюбленным местом прогулок, на памяти Лизавина заняты больше картофельными огородами и грядками, они подступали даже к фигуре солдата – памятнику погибшим в последней войне. Солдат был гипсовый, крашенный серебрянкой – цвет провинциальной монумент-

тальности. Постаментом же ему служил гранитный, из земли росший камень, на нем различимы были замазанные цементом стилизованные славянские буквы: «Герою Отечества – благодарные Столбенчане». Надпись по содержанию подходила, но предназначалась, очевидно, не солдату. Лизавин еще застал на камне вождя с бронзовыми усами и в сапогах того же материала – но и он лишь занял опустевшее место. Тот, кому посвящена была надпись, сохранился лишь неясным силуэтом в левом углу устаревшей фотографии – столбенецкий купец Степан Колтунов, который будто бы соперничал в подвиге с самим Иваном Сусаниным.

На эту историю стоит слегка отвлечься, чтобы еще раз показать, в каких непростых отношениях с истиной бывают даже свидетельства документальные. В 1912 году местной ревнитель древностей учитель Семиглазов обнаружил в бумагах Воскресенского мужского монастыря челобитную колтуновского зятя «Ивашки Кваши со чады, Игнашкой да Фомкою». В челобитной, меченной мартом 7128, то есть 1620 года, говорилось про мученическую смерть Колтунова от руки поляков семь лет назад, зимой 1613 года, когда купец забирал поташ в окрестностях Костромы и был захвачен в проводники отрядом, искавшим царственного отрока Михаила Романова. Сводилась же челобитная к просьбе освободить в честь такого подвига от непосильных пошлин наследников убиенного. Подлинность бумаги сомнений не вызывала, но по каким-то причинам до Москвы она не дошла, застряла в монастыре, и потому имя героя оставалось в забвении без малого го триста лет. Находка счастливо совпала с близким юбилеем царского дома и слухами о возможном приезде в Столбенец государя; наконец сам камень, служивший, наверно, еще язычникам для жертвоприношений, давно требовал над собой монумента. Сбор средств объявили тотчас, но пока чугунная фигура купца отливалась в Саратове, о подвиге его завязался спор. Костромской историк Погорелов, явно раз-

драженный явлением конкурента своему земляку, заметил в печати, что челобитная, даже если она не поддельная, еще не свидетельствует ни о чем, кроме попытки родственников пропавшего без вести купца получить для себя льготы. Откуда известно, что погиб он от поляков, а не от воровских людей, коими кишели тогдашние дороги? Семиглазов отпарировал мгновенно: не такие ли точно сомнения высказывали разные Соловьевы и Костомаровы о подвиге самого Сусанина? Они требовали доказательств, что под Костромой вообще появлялись поляки. Но такие вещи надо принимать душой, как приняла царица Марфа челобитную сусанинских родственников. Погорелов, сердчая все больше, ответил, что, возможно, слух об успехе этой челобитной и побудил Квашу два года спустя к попытке самозванства, что одно дело местный крестьянин, другое – заезжий купец, который лесов здешних не знал и заблудиться, если уж на то пошло, мог безо всякого героического умысла... Тем временем памятник установили, но государь до Столбенца так и не добрался, ученый же спор через несколько лет утратил смысл из-за нагрянувших событий.

Милашевич вспоминал об этом эпизоде провинциальных умственных кипений в годы, когда древний камень уже опять пустовал – но вовсе не потому, что колтуновский соперник сумел доказать свои исключительные права. Нет, на какой-то срок соперник сам заколебался, словно в зыбком мареве; оба показались не нужны для обновленной истории, где спасение царя уже не считалось заслугой, даже наоборот, и почти растворились, растаяли в воздухе, причем Колтунов растаял, можно сказать, непоправимей, не имея за собой устоявшегося предания, со стихами и операми, да вдобавок отягощенный неудачным купеческим происхождением. Так что когда история вновь заинтересовалась духом государственного патриотизма, к бытию вернулся лишь один из них, более привычный. Его в конце концов вполне хватало. В рассказе Милашевича об этом философствуют разные персонажи. Важна идея, говорит один, а образ так или иначе стусится из нее, используя для воплощения любой пригодный материал, обретет имя, черты, возвышенную речь и даже чугунную весомость. Со временем он перестанет нуждаться в доказательствах достоверности, наоборот, сам будет важнейшим и достаточным доказательством. Другой заявляет, что механический факт ничуть не ближе к истине, чем смутное чувство, слух, видение. Мы-то знаем лучше других,

как молва и сон могут превратиться в плотное – да еще какое весомое! – вещество жизни. Факты могут присутствовать в слухах и версиях, как в жидкой глине камушки, но когда вместе засохнут, у них общая прочность. Если не подвергать эту прочность чрезмерным испытаниям, можно, в конце концов, обойтись одной глиной – из нее удобней лепить. Мы умеем жить музыкой, а не эвклидовой геометрией, – предлагает свой образ третий. Быть может, провинция своим пониманием вообще предвосхитила мироощущение века, из которого уже возникает и новое искусство, и новая мораль, даже новое понятие о реальности и новая теология. Похоже было, что Милашевичу хотелось связать с провинциальной идеей собственную художественную неосновательность. В финальном эпизоде слышится как бы стон самого исчезающего Колтунова: «Помогите же! Дайте посуществовать!» А опустевший камень уже томится по новой тяжести, уже предчувствует ее над собой, до зуда – из этого зуда она вот-вот и сгустится.

(Поздней в бумагах Милашевича Лизавин нашел одну странную, задевшую его запись:

*«Что было со мной, пока я не умер? Не помню. Это и есть смерть».*

Черновой вариант, развитие колтуновской темы? Кто знает.)

Да, с историческими свидетельствами тоже не всегда выходило просто. Что семнадцатый век! В той же краеведческой брошюре Антон Андреевич встретил имя некоего А. Н. Ганшина, местного социалистического деятеля и пропагандиста. В его доме, рассказывал автор, собирались на тайные совещания революционеры из ссыльных окрестностей, находили пристанище беглецы, даже центральные вожди. Девятью страницами раньше упоминался без инициалов другой Ганшин, пресловутый здешний фабрикант, помещик и меценат, отпрыск княжеского рода Ногтевых-Звенигородских. Совпадение не могло не заинтересовать Лизавина еще и потому, что с фабрикантом Милашевич был знаком; в нечаянской типографии Ганшина, как мы помним, напечатан был первый его рассказ, в столбенецкой публиковались другие дореволюционные его сочинения. Но, лишь занявшись темой вплотную, Антон Андреевич уяснил то, чего не мог бы понять читатель брошюры, а возможно, не знал уже и автор: владелец обеих типографий, а заодно карамельной фабрики и электротеатра «Грезы», помещик, старательно разорявший наследственные лесные угодья, аристократ, покровитель искусств, и социалист, проповедник революции, был одно и то же лицо, Ангел Николаевич Ганшин, а нелегальные совещания происходили в его усадьбе, в двенадцати верстах от

Столбенца. Случай, как известно, отнюдь не исключительный для России.

В поздней прозе Симеона Кондратьевича возникает под разными именами отяжелевший атлет со щеками в курчавой бородке: «Она производила впечатление окладистой, хотя на самом деле окладисты были щеки. Где-то внутри них про-рисовывалось другое лицо, тонкое, нервное. Казалось, будто стремительный живой человек обложен сырым трясущимся слоем и движется, преодолевая его тяжесть». Описание лучше известных фотографий позволяет увидеть этого усталого отпрыска аристократии и эксцентричного фабриканта; он бродит по страницам Милашевича походкой больного слона, в зарослях одичавшей сирени, сплошь о пяти лепестках – «лилово-зеленый цвет эпохи, пережившей свой век на четырнадцать болезненных лет».

Глазки заплыли, краснеет воспаленная кайма по низу белка; левую половину груди и толстое плечо стягивает кожаный фехтовальный доспех на ремешках, штаны обвисли на задку. В кадке с бронзовыми фигурными обручами растет родословное дерево без листьев, со множеством засохших отростков. Его болезненно тяготит неподвижность, особенно летом, он тоскует от невозможности существенной новизны и не находит облегчения даже на рулетке в Карлсбаде, где ему противоестественно везет. Мебель в его доме то год от года растет, надеясь хоть грандиозностью пронять увядшие

чувства хозяина, то заменяется легкими составными устройствами, которые специально придумывал некий опередивший время гений, так что их, можно было разбирать на части и переиначивать. Усадьба постоянно перестраивается, подвижные зеркала ненадолго обновляют пространство, в саду устроен грот с эхом, которое не повторяет звуков, а живет самостоятельной прихотливой жизнью, так что его можно толковать и употреблять для гаданий; призрачные фигуры из проволоки и жести перекачиваются на ветру, меняя при этом вид и наводя суеверный страх на окрестных жителей, а в оранжерее высеяны семена экзотических растений, чьих названий хозяин не хочет даже знать, надеясь на сюрприз.

Милашевич долгое время жил в усадьбе на правах то ли друга, то ли приживала-развлекателя; он, впрочем, занимал место садовода, возился в ганшинской оранжерее, а также придумывал для его карамельной фабрики конфетные обертки, или фантики, как их называют дети. Эту фабрику Ганшин поставил как будто наобум, не позаботясь об отдаленности сахарного сырья. Однако выписанный из Вильны инженер-управляющий, немец Фиге сверх ожиданий наладил вполне доходное производство на местной картофельной патоке, начинки фруктовые и медовые обогатил ликером из трав, коим издавна славился Воскресенский монастырь, агар-агар для обеспечения прозрачности получался из местных водорослей, – так что ганшинская продукция уже и в обеих столицах бросала вызов братьям Эйнем, Абрикосовым и Сиу. Милашевич успех предприятия объяснял отчасти популярностью фантиков. Эти бумажки занимали его как феномен провинциальной культуры, как средство просвещения и воздействия на умы. Кроме рисунка (в два-три цвета) и названия на них печатались полезные советы, сельскохозяйственные рекомендации, мудрые изречения, приметы погоды и предсказания на год. Была карамель «Гадательная» с изображением карточных мастей: «Туз бубен означает, что задуманная тобой особа честна, благородна. Предве-

щает перемену жизни к приятному». Была карамель «Опохмельная» с добавкой секретного травяного экстракта и увещательными виршами:

Если голова трещит,  
Пососи вот это.  
Лучше зелье не глуши,  
Покупай конфеты.

Карамель «Именинная» выпускалась на разные имена, преимущественно женские, с изображением белокурой или черноволосой красавицы (впрочем, на одно и то же лицо), выпиской из святцев, а иногда и поздравительным стишком. Трудно предположить, что каждому виду фантиков соответствовал свой сорт продукции – слишком их выходило много. После революции, когда фабрика надолго остановилась, оказалось, что их напечатало впрок на несколько лет. Было время, когда оборотная сторона этих неразрезанных полос оставалась в окрестностях единственной бумагой. Ее использовали для писем, листовок, мандатов и продовольственных карточек. На крупных листах в 1920 году было напечатано несколько номеров столбенецкой газеты «Поводырь» (справа от заголовка, поясняя его, мускулистый рабочий в фартуке вел за руку к восходящему солнцу крестьянина с запрокинутой головой слепца). Лизавин держал в руках даже денежные боны из фантиков, предназначенные для некой «Лесной коммуны»: на обертках «Шоколадного лебедя», «Крестьян-

ской» и «Красной розы» соответственно типографские надпечатки: «Пятьсот рублей», «Тысяча рублей» и «Три тысячи рублей» с печатью и роскошной подписью некоего А. Комара.

«Провинциальный вкус может меняться, – проповедует у Милашевича в одном из рассказов перед богачом-меценатом человек, называющий себя «придумыватель картин». – Но во все времена большинство людей будет от рождения знать наизусть «У попа была собака», и эта собака будет занимать в их душе место рядышком с Пушкиным. Не стоит ею свысока пренебрегать, иначе мы не поймем внутренней жизни нового сиротского слоя, что все больше заменяет прежнее крестьянство, не поймем тот народ будущего, который восторжествует при любом повороте истории. Не поймем, наконец, чего-то существенного в самих себе».

«Верно ли стыдиться общих мест? – продолжает он время спустя. – Есть смысл и прелесть в открытии известного еще египтянам. Музыка выражает то, чего не смогут выразить слова. Как глубоко, как прекрасно замечено! Это вы сами придумали? В том-то и дело, что сами, впервые, и не имеет никакого значения, что это уже тысячекратно прозвучало до вас. Поверьте. Открытие каждый раз гениально, как любовь, когда всякий заново уверен, что ничего подобного еще не было до него за века человеческой истории. Умирали тоже миллионы до нас, но вы-то умрете впервые и единственный раз, прочувствуйте это». И в другом месте: «Именно первоосновы жизни банальны. В искусстве человек жаждет узна-

вать знакомое, себя самого, за то и гениев ценит: как верно подмечено, Господи! Вот и у нас так же, и мы все это испытывали. Мы ценим в гениях, по сути, то же, что и в цыганском романсе: совпадение с собственной душой, оправданность ожиданий – ну, конечно, обновленных складностью, даже изяществом выражения, нам не всегда доступными».

Постоянное обновление чувств – вот главная забота этого персонажа. Ему смешны механические приспособления, меняющиеся с помощью пружин и ветра; он предлагает свои рецепты. Больной меценат в «Сказках для Ангела» готов отречься от изысканных вкусов, от привычных ценностей, французских книг; он покупает расписные коврики у местного живописца Босого, из неудавшихся маляров, и вешает их по стенам; он собирает коллекцию кустарных поделок, бумажных пустьяков, на мраморном постаменте для скульптуры водружается голова из парикмахерской витрины, мужской башмак в соседстве с женским высоким ботинком, а вдохновенный рассказчик предлагает ему в музей все новые экспонаты: косой луч солнца в туманном лесу, птичий щебет, вздох на скамейке, гармошку, играющую «Расставанье» на столбенецком вокзале, каталог самоценных мгновений, изъятых из времени и истории. «Счастье доступней людям без родословной, не отягощенным виной предков и даже чувством первородного греха». – «Да, прочь все, – нетерпеливо откликается слушатель. – Забыть себя, от всего отказаться. Пусть будет как у них»; он согласен даже на вшей, даже на гибель, только бы поскорей.

Ганшин явно впадал иногда в своеобразное и уже старомодное народничество; но революционные томления его, видно, порождались не столько идеями, сколько все той же психологической потребностью в переменах. Он писал некий трактат «Утраченный сад, или О неизбежности революций» и предлагал заезжим конспираторам средства и оружие, чтобы объявить социальную республику в двух ближних уездах, не дожидаясь столиц; даже при неудаче глухость и отдаленность мест позволила бы здесь продержаться изрядно. (Спустя всего несколько лет как эпитафия над его прахом возникла недолговечная и загадочная Нечайская республика.) Он готов был превратить в крепость собственную усадьбу и уже начинал обносить ее каменной стеной, но выстроенная часть внезапно провалилась в землю, где обнаружился полые пространства: остатки хранилищ или подземных ходов, устроенных кем-то из предков, может, еще разбойным князем времен Ивана Грозного. Обвал случился в день смерти Ангела Николаевича; оба события оказались отмечены в одном и том же номере газеты «Столбенчанин» от 1 июля 1914 года.

Сообщение о смерти Ганшина было озаглавлено в духе провинциальной сенсации: «Самоубийство, убийство или несчастный случай?» Тело нашли 28 июня в оранжерее с выбитыми стеклами и завядшими растениями. В револьвере, выпавшем из руки, не хватало пули; загадка была, однако, в том, что самой пули не нашли ни в теле, ни около. На виске имелся синяк размером с копейку, но ни орудия смертельного удара, ни посторонних следов также не было обнаружено. Револьвер наводил на мысль о задуманном (и как будто осуществленном же!) самоубийстве. Тем более что на письменном столе осталась записка, которую можно было расценить как предсмертную: «Завещание в ящике», но больше не прояснялось ничего. Если существовали другие подробности, их затоптали неумелые провинциальные следователи, а может, переврали увлеченные газетчики, и не дело литературоведа, в конце концов, было доискиваться полвека спустя до упущенной ими загадки. Но с этой темой для Антона Лизавина оказался связан один непроясненный намек – обрывочная запись в бумагах Симеона Кондратьевича.

*«Это произошло не только в один день, но даже час в час с выстрелом Гаврилы Принципа. В чем мне себя винить? Бессмысленно видеть во всем причину и связь. Просто совпало: обострение кризиса, вынужденное отсутствие, созревание плодов, обвал. И все-таки, все-таки... Можно было понять, почувствовать сразу. Я не уловил. Безобидный экспромт, розыгрыш на привычную тему. Его это иногда встряхивало. Дескать, в народ нынче не ходят, но как вы отнесетесь к идее взять народ на дом? Смотрите, какой со мной славный сиротка, не приютим ли на время? Я ждал, что запах заставит его поморщиться, тут уже наготове была шутка. Нет, он даже ничего не заметил. И как было не залюбоваться мальшиом, этими кудрями, личиком херувимским. Так было все хорошо, я не спешил с объяснением. Единственная несчастная возможность просто прошла мимо моего понимания. Пришлось объясниться, вот и все. Но эта дрогнувшая улыбка, эти страдальческие глаза...»*

Что это? набросок очередного сюжета? Упоминание о сараевском выстреле прямо связывало запись с датой смерти Ганшина, только разобраться в этом не было никакой возможности. Поздней Антону Андреевичу случалось возвращаться мыслью к проступавшим здесь намекам. Воображению начинало что-то мерещиться, но эти фантазии были уж так произвольны, что и упоминать их не стоит. Больше об этом периоде жизни Симеона Кондратьевича мы ничего не знаем; между тем он еще сравнительно ясен. С 1914 по 1926 год идут почти сплошные потемки. Известно лишь, что перед самой революцией он служил письмоводителем в Столбенецкой управе, потом был недолгое время хранителем в Музее старой жизни, который устроили в бывшей ганшинской усадьбе. Кстати, о наследстве покойного долго шла тяжба между родственниками, завещание его оказалось оспорено; тяжба длилась до самой революции, а там потеряла смысл. Но это уже к теме Лизавина не относилось. Усадьба потом горела, от нее сохранилась лишь фотография. Во времена лизавинского детства ее бывшие окрестности назывались «запретной зоной», и до сих пор Антон Андреевич, вообще неплохо знавший свой район, не побывал в местах, куда приезжал отходить от депрессии этот злополучный «отяжелевший ребенок», как любовно называл его Ми-

лашевич. Рассказы ганшинского цикла почти все остались в рукописи, напечатаны были между февралем и октябрём 1917 года только два. Это были тоненькие, как всегда, для немногих изданные брошюры на хрусткой фантичной бумаге с фантичными же картинками посреди белой обложки: на одной – красавица с лейкой, на другой – мальчик с кудрями и личиком херувима (таким невольно представлял себе Антон упомянутого в обрывке малыша; впрочем, и у женщины было точно такое же лицо – сказывался то ли вкус, то ли неумение местного художника рисовать иначе). Эти две картинки, словно знак домашнего издательства, присутствовали на всех книжицах, выпущенных Милашевичем, очевидно, в Столбенецкой типографии. «Очевидно», потому что ни типография, ни место издания на большинстве из них не указаны; это были публикации из рода тех, что не предназначаются для продажи и не посылаются обязательными экземплярами в библиотеки. Блаженные времена, когда автор мог утром оставить рукопись знакомому наборщику, а вечером, скромно расплатившись, унести под мышкой весь свой тираж. Вряд ли Симеон Кондратьич подозревал, что его изящные курьезы станут со временем букинистической ценностью; у любителей эти издания получили впоследствии название «конфетных» – именно они, книжники, а не литературоведы, помогли сохранить о Милашевиче память.

Так уж получилось, что попытка придерживаться в рассказе хоть какой-то хронологической последовательности лишь теперь позволяет нам упомянуть давно обещанный мемуар, из которого Антон Андреевич, собственно, впервые узнал о существовании Милашевича и с которого начались все его дальнейшие разыскания. В 1965 году в Москве вышли воспоминания известного библиофила Василия Платоновича Себеки, к тому времени уже покойного. Он начинал до революции как критик, перед самым февралем основал издательство «Домино», продержавшееся девять лет, а когда оно потом влилось в государственное объединение, остался при нем же на неопределенной должности «консультанта». Но знаменит он был больше своим собранием книг, которое после его смерти составило целый фонд в Ленинской библиотеке. Особенно славились его раритеты; он был из числа тех коллекционеров, которых книга привлекала тем больше, чем она безвестнее. Не меньше древнего апокрифа могло заинтересовать его пособие для карточных шулеров, изданное в Одессе в 1893 году и известное в единственном экземпляре. Ни у кого в Москве так полно не был представлен раздел, который на языке библиофилов называется «Idiotika». Хотя как бывший издатель и тем более критик он отнюдь не был равнодушен и к литературе. Совмещение в одном лице

таких ипостасей порождало разные толки; злословили, например, что иные диковины Семека у себя же в издательстве и фабриковал, выпуская при надобности в единственном экземпляре и разыскивая по провинции творения неизвестных чудаков; что именно букинистический доход покупал, и с лихвой, издательские убытки. Рассказывали также, что особенно пополнилась его коллекция в тридцатые годы, когда Семека усиленно рыскал по осиротевшим домам... Но это уже опять, как говорится, не наша тема; просто – к характеристике источника. На фотографиях в книге – круглое лицо с актерскими брыльцами, пятнышко усов под носом, купеческий пробор; пахнет бриолином, свежим бельем, словами «расстегай» и «балык». Он и рассказывает вкусно, может, слегка присочиняя – даже наверняка присочиняя и даже не слегка: подозрительно новенькими выходят из его памяти целые страницы диалогов, да еще с особенностями речи, попутными деталями.

Перед нами проза, не без таланта, но к достоверности ее не стоит предъявлять чрезмерных претензий. Так вот, одна из глав его «Записок книжника» повествует, как попали в его собрание «конфетные» брошюрки Милашевича – не такие ли истории, им самим рассказанные, породили толки о его провинциальных аферах? Семека наведался в Столбенец, прослышав об апокрифах, которые будто бы видели в окрестностях здешнего разоренного монастыря, а также ганшинского имения, где как раз перед тем был ликвидирован

музей. Сосредоточась на этих надеждах, он как-то и не думал о Милашевиче; лишь задним числом дошло до него, почему казались такими знакомыми эти крики торговки на станции («А вот лещ копченый, с дымком! Бери, гражданин, щука жареная, еще горячая!»), и пыльная дорога к городу мимо приземистых складов, и осевший земляной вал, даже лужа, по которой, как по озеру, шла крупная рябь. Словно уже здесь бывал и все это видел; впрочем, не возникает ли подобное чувство в любом провинциальном городке? Лишь после того, как он убедился, что, с апокрифами его кто-то опередил, вид заведующего местной читальней напомнил ему о Милашевиче, вдохновив неунывающего книжника возможностью другой, попутной удачи.

Надо отдать Василию Платонычу должное, он выразительно описывает персонаж, как будто сошедший со знакомых страниц: пенсне, обвязанное у переносицы ниткой грязного цвета, свежестираную толстовку с подмышками, испорченными потом, плетеный шнурок вместо галстука, жестяной наконечник, оберегавший грифель карандаша, который торчал из оттопыренного нагрудного кармана, седеющие перышки вокруг большого рта, облезлую шевелюру. Нам ценны здесь все подробности: голые стены в лиловых чернильных пятнах, стриженный мальчик – единственный посетитель, листавший подшивку «Красной газеты», жестяной бак для кипяченой воды с кружкой на цепочке, самодельный плакат, призывающий к подписке: «Газета – твоя мать! Она ждет от тебя поддержки!» В библиотеки и читальни Семека везде навевался непременно, здесь нередко и торговлишка книжная велась, а уж разговор о книгах возникал сам собой. Имя Милашевича он упомянул сперва просто так, для завязки: дескать, был когда-то и у здешних мест свой поэт – но тотчас уловил, как что-то дрогнуло при этих словах за блеснувшими стеклами, хотя самой темы собеседник не поддержал. Инстинкт книжника приучил Семеку не выдавать подлинного интереса, он лишь вспомнил к слову сюжет-другой из Милашевича, и можно поверить ему, со вкусом –

несколько брошюрок не просто имелись в его коллекции, но читались и были ценимы. Мы так и видим, как библиотекарь слушает его недоверчиво и напряженно, наклонив голову и глядя снизу, из-под стекол, как потом он снял пенсне, чтобы протереть, и незащищенные глаза его с выпуклыми красноватыми веками оказались растерянными, беспомощными. «Странно, – проговорил он и откашлялся. – Странно увидеть вдруг собственного читателя». Тремя вопросительными знаками передает Семека свою немую реакцию, на которую последовало объяснение: «Я, видите ли, и есть Милашевич».

«Он сказал это, понизив голос и почему-то покосившись на мальчика в углу, как будто опасался свидетелей такого признания», – замечает не без юмора Василий Платоныч. Эта доверительность голоса (дескать, между нами, не выдавайте), этот воспаленный взгляд произвели на него в первый миг впечатление, будто сказано было: «Я и есть Наполеон». Психологически можно понять перекося восприятия: к 1926 году Семека уже не представлял автора «конфетных» брошюр живым человеком. Почему же исчез так наглухо? Не печатал ли новых книжек? – этот вопрос прозвучал теперь естественно и бескорыстно. Нет, книжек не появлялось уже много лет. «Неужели больше не пишете?» – «Как не писать! – Он усмехнулся и почему-то похлопал себя по оттопыренному карману с карандашом в наконечнике. – Все время, каждый день. Без этого нет жизни». И вот тут Семека нашел (или, если верить молве, применил очередной раз) тот поворот разговора, который отчасти и порождал двусмысленные толки: он завел речь о необходимости попытать издание сборника в Москве, может, совместно из новых и старых вещей (в упоминании «старых» был, конечно, уже намек и на «конфетные» книжки), дал понять и свою причастность к издательскому миру. Собеседник отвечал на это пожиманием плеч; неожиданную идею надо было сперва переварить. Они

договорились встретиться после шести в чайной – Симеон Кондратьич сконфуженно извинился, что домой пригласить не может, сославшись на нездоровье жены и вообще беспорядок. Ах, как нам это досадно! Хотелось бы, право, взглянуть посторонним взглядом на Александру Флегонтовну, на обстановку жилья – увы, приходится довольствоваться чем есть.

С тем большим вниманием примечаем мы подробности разговора в чайной: несвежий прокуренный воздух, в меру замызганные скатерти, но на возвышении балалаечник в русской косоворотке, и подают в сметане знаменитых здешних карасей, и водочка довоенной, сорокаградусной крепости, есть даже коньячок – время нэпа. Жадно разглядываем мы Симеона Кондратьевича, который явился в белом картузе, начищенных сапогах и ради новой встречи сменил плетёный шнурок на короткий широкий галстук с заплаткой. Эта заплатка, признаться, настораживает, нищенская аккуратность провинциала как-то анекдотически здесь демонстрируется, и если Семека эту подробность не присочинил, возникает вопрос, не представлялся ли перед ним слегка Милашевич. Он, кстати, отказался не только от выпивки, но от колбасы и даже от рыбы, подтвердив достоверность своего провозглашаемого в прозе вегетарианства. Но существенней всего для Семеки был, конечно, газетный, перевязанный бечевкой сверток, который принес с собой Симеон Кондратьич. Кроме двух рукописных тетрадок, в нём оказался десяток книжек, в том числе шесть никому не известных в Москве; зато многих известных, к удивлению коллекционера, у самого автора не нашлось. Более того, автор не всегда мог понять, какие имелись в виду, и когда собесед-

ник напомнил ему названия и даже содержание некоторых, всерьез удивился: разве у меня про это есть? Семека упоминает, например, рассказ о человеке, который на вершине счастливого чувства снял с часов стрелки и не вернул, хотя часы продолжал заводить регулярно: «Трудно передать очарование этой метафизической шутки». Среди книг Симеона Кондратьевича Лизавину действительно такой разыскать не удалось – не напутал ли чего-то, в самом деле, Семека, приписав Милашевичу чужой сюжет? – так, похоже, готов был считать сам Симеон Кондратьич. Он как будто давно перестал думать о публикациях и о читателях. «Которые были, тех нет!» – «Но вы говорите, что пишете все время, – напомнил Семека. – Для кого же?» – «А есть для кого, – оживился в ответ Милашевич и даже повторил, многозначительно подняв палец: – Конечно, есть. Не для себя же». Где-то с этого момента мы начинаем чувствовать, что столичный гость несколько разочарован личностью, в которую, так сказать, воплотилось имя, куда более привлекательное на типографской обложке, что он относится к собеседнику скорей снисходительно. Тем более что непосредственная цель достигнута, желанные книжки в руках. (Искренность Семеки при этом вне сомнений – сборничек «Провинциальных фантазий» вскоре вышел в Москве его стараниями, мало того, с небольшим его предисловием, возможно даже снизив цену букинистических диковин, хотя – при тираже в 180 экземпляров, – вряд ли сильно.) Свой человек в литератур-

ных кругах, запечатленный на фотографиях в белых брюках, иногда в касторовой шляпе, иногда в панаме, в бархатной художнической куртке, с фуляровым бантом или галстуком-бабочкой, он теперь подмечает, что картуз аборигена можно назвать белым лишь условно, что запах его стираной толстовки все же не совсем свежий, что пальцы его грубы и черны от копания в земле, что речь его полна мнимозначительных намеков, которые любят именно провинциалы, как интуитивный способ самоутверждения: дескать, и мы здесь не так просты, мы у себя в библиотеке даже от мировых проблем не отстаем. Хотя если начнешь вникать, что за этими намеками – только головой покачаешь. «Что же вы такое пишете? – продолжал интересоваться Василий Платоныч уже больше из вежливости. – Небось что-то большое?» – «Не знаю, как и сказать. Это само растет, как живое, в разные стороны. Только следы». – «Но писать, не печатаясь, без широкого читателя – все-таки противоестественно». – «Это если о литературе думать. Я же не для нее пишу», – отвечал Симеон Кондратьич, и можно бы решить, что он этак прибедняется: где уж нам! – если бы тут же не дал понять, что знает про себя нечто поважнее печатанья. «Бывает, только подумаешь слово, а оно уже существует, да еще как!» Здесь Семека, правда, признается, что украдкой успел все же плеснуть собеседнику в чай немножко коньячку – для оживления беседы; может, уже сказывалось. Пошла уже совсем подозрительная речь про научные опыты восприятия мысли, а

там – про чуткость растений, про индийского ученого Бозе, который при пересадке усыплял саженцы хлороформом, как людей или животных, чтоб безболезненной приживались, и даже про то, зависят ли свойства навоза, используемого для удобрений, от свойств лошадей. Лишь когда Симеон Кондратьич стал толковать про бразильца Сикейроса, который придумал кормить коров листьями кофейного дерева, чтобы получать сразу кофе с молоком, Семека что-то заподозрил и догадался расхохотаться – собеседник, довольный, рассмеялся с ним вместе. Как знакомо было Лизавину это забавное, а впрочем, двусмысленное смущение, которое Милашевич мог вызвать в самый неожиданный момент и самым простодушным манером – это двойственное, близкое к замешательству чувство, возникающее, когда ты закрывал последнюю страницу или, как Семека, прощался с ним. «Мы вышли на светлую еще улицу. Перед забором, обклеенным объявлениями, стояла коза. Край одной бумаги отстал, но она и не думала его жевать, смотрела долго, внимательно. «Что-то нашла», – сказал Симеон Кондратьич. Я засмеялся и подошел к забору; коза не испугалась, лишь посторонилась, чтобы я тоже мог прочесть: «Козам и мелкому скоту произвести прививки до субботы под угрозой штрафа».

Лизавину мемуары Семеки попались на глаза, когда он уже писал свою диссертацию о земляках, губернских и областных литераторах, не подозревая о существовании Милашевича. Стоит ли говорить, что он тотчас поспешил разыскать не только «Провинциальные фантазии» неведомого ему прежде автора и все дореволюционные его книжицы, перешедшие к тому времени в библиотеку из собрания Василия Платоновича, но просмотрел в московском литературном архиве и фонд покойного Семеки. Там оказались в сохранности рукописи еще нескольких неопубликованных рассказов Милашевича (среди них почти все «Сказки для Ангела» – видно, не ко времени пришелся этот причудливый персонаж), а сверх того – неопубликованный же автобиографический набросок, здесь уже упомянутый. Набросок и еще два-три текста были присланы по просьбе Семеки позднее, издатель хотел предварить сборник сведениями об авторе, но для печати и это, видимо, не подошло. Та встреча с Милашевичем была единственной, больше, пишет Василий Платонович, он об этом человеке не слышал. Он не откликнулся даже на присылку вышедших книг – видимо, умер, заключает автор. Выяснить это подробнее не дошли руки. Лизавин грешным делом подозревал, что Семека не очень и старался выяснить, отсутствие отклика уже в ту пору было непри-

ятным знаком. Самому Антону Андреевичу удалось узнать несколько больше. Он откопал кое-какие журнальные публикации Милашевича, в том числе злополучное «Откровение», наконец, следственное дело, а в нем единственное изображение Милашевича, тот самый фас, переснятая копия которого с тех пор стояла в деревянной рамочке у него на столе. И этим его находки исчерпались. К смущению Лизавина выходило, что после всех его стараний, полуслучайных удач и даже восторгов ему оставались неизвестны целые полосы в жизни писателя, о котором он толковал, даже дата и обстоятельства его смерти. Домовые книги тех лет не сохранились, в гражданских архивах, в кладбищенских записях ни Милашевича, ни Богданова Симеона Кондратьевича обнаружить не удалось. Он ухитрился остаться не запечатленным ни в каких долговечных бумагах, скажем, в дореволюционном столбенецком «Адрес-календаре» – поскольку, видимо, не состоял на казенной службе. Не возникало его тихое имя даже в местных газетах, которые, правда, и сохранились не полностью, по большей части в Москве (иные – в виде оттисков для военной цензуры, сплошь исчерканные красным карандашом). Архивы здешние многократно пострадали, особенно от разных послереволюционных упразднений, не говоря уже о том, что они и в Столбенце, и в Нечайске горели по меньшей мере дважды при больших городских пожарах, причем второй раз одновременно, засушливым летом 1928 года, и эта одновременность породила громкий,

несколько загадочный процесс о поджоге. Более же мелкие пожары возникали тут едва ли не ежегодно – оба городка могли предъявить целую коллекцию. Если даже не считать постоянных пожаров в лесных окрестностях: то сам собой загорался торф, то дрова, заготовленные к вывозке, – но уже не сами собой, тут подозрение падало на крестьян, уклонявшихся от гужевой повинности. Был год, когда пожары объяснялись началом польского наступления и деятельностью антантовских агентов, год, когда пожарная бочка ввиду засухи все лето простояла для: поливки в огороде начальника Столбенецкой милиции, но пожар начался именно с его дома, как выяснило следствие, от самогонного аппарата; был пожар, который возник, когда вся столбенецкая команда ловила в городском парке сбежавшего быка... Но стоит ли продолжать? Эта тема достойна особой увлекательной хроники.

Деревянная страна, – меланхолично думал иногда Антон Андреевич, – ненадежная память. В каком-нибудь каменном европейском монастыре можно по бумагам восстановить каждый день жизни за несколько столетий: кто обитал да кто приезжал, что покупали и продавали, что ели и пили, с кем переписывались и вели тяжбы, о чем рассуждали и спорили на диспутах, сколько извести, камней и позолоты пошло на храм... да что говорить! В Столбенце, впрочем, Воскресенский монастырь тоже был каменный и от пожаров не пострадал, но тут прошлись другие опустошения. И времена-то вроде близкие... впрочем, с ними иногда бывает хуже, чем с давними.

Но можно еще захватить живых свидетелей, расспросить, – уже спешит подсказать кто-то. Да уж, не сомневайтесь, Антон Андреевич и этого не упустил, но энтузиазма для таких поисков ненадолго хватило. Начать с того, что старожилы и в Столбенце и в Нечайске осталось немного, и люди это были обычно не из числа тех, кто мог в дореволюционное время читать Милашевича. Пропали, переселились куда-то бывшие гимназисты, их родители и учителя, и ревнивый историк Семиглазов, первым попытавшийся создать в Столбенце краеведческий музей, и директор гимназии Стратонович, тот, что написал «Курс всемирного языка воляпюк» с хрестоматией и словарем, но успел издать лишь первую часть, исчез детский врач Левинсон, основавший здесь знаменитый приют-пансион с передовым методом взаимовоспитания и баллотировавшийся после революции по эсеровскому списку, растворились бесследно бывшие заседатели, акцизные, телеграфисты, инспектора и прокуроры, все, кто ходил когда-то в Общественное собрание на вечера с фантами, не говоря уже о лицах духовного звания, монахах, монашках и тому подобных. Если кого-то из них можно было разыскать, то скорей в столицах. Антон Андреевич однажды поместил в областной газете небольшую статейку с упоминанием Милашевича и просьбой сообщить, если кто о нем что зна-

ет, – откликов не было. Новое население прибыло в городки больше из деревень – среди них была и мама Антона, она переселилась в Нечайск уже после большого пожара, а отец и того позже. Да и расспрашивать старожилов было немного толку. Не в том была беда, что старички эти морщили лбы и качали головами, когда им говорили про Богданова или Милашевича, местного писателя, садовода и вегетарианца. Хуже, если вдруг начинали вспоминать – как однажды одно-рукий Хворостинин, бывший печник. «Кондратьич, что ли? Так я его знал. Ну как же! Его колдуном звали». – «Почему колдуном?» – «А он вроде из сареевских, что-то такое умел. Знаешь Сареево? Там раньше колдунов считалось полдеревни, да и сейчас. Самый суеверный район был наш, уезд по-старому. Колдуны, сектанты. Он там у кладбища жил, в бывшем поповском доме. Поп тоже расстригой оказался, табаки выращивал». – «Постойте, у какого кладбища?» – спрашивал Антон, уже заранее тоскуя; действительно, выяснялось, что Хворостинин говорит о Нечайске, а не о Столбенце, он жил там года с двадцать четвертого, в Столбенец попал уже лишь после войны. Но Милашевич-то после революции в Нечайске не жил, печник его с кем-то путал. «Потом говорили, с макарьевцами связался». – «С кем?» – «Макарьевцы, секта жила такая в лесах. Целый город, говорят, земляной построили, их с самолета нашли. И этот Макарий, поп, то есть расстрига, у них был за главного. Они в голод, когда все тут горело, что делали? Собирались на кладбище, вырывали

из могил мертвецов, которые еще свежие, варили как мясо, а потом от этой еды дурели, ну, знаешь, допьяна, и плясать пускались, вытворяли всякие безобразия, пока сами не падали мертвые. Дикость была... А поп, говорят, в Америку сбежал, еще сейчас по радио выступает».

Нет, не стоит упрекать Лизавина, что он с этими попытками не слишком усердствовал. Право. Где мог, покопал и понемногу продолжал копаться – не потому, что был склонен к таким архивным разысканиям, просто из добросовестности. В нем архивной этой жилки как раз не было, он по природе предпочитал домысливать и даже к сочинительству с некоторых пор примеривался. В уме у него сложился образ захолустного самоучки-философа, проповедовавшего незамысловатую гармонию, ценившего фантазию, юмор, снисходительность и доброту, и в образе этом было столько близкого, приятного, что если уж на то пошло, не очень даже хотелось осложнять и замутнять его добавочными, да скорей всего лишними подробностями. Он даже вздрагивал, когда на печатных страницах или в документе попадалась фамилия Богданова (не такая уж редкая), и, убедившись, что это не Милашевич, испытывал облегчение. Однажды посмертно возник сразу Милашевич-Богданов, да еще в каком контексте! Лизавин увидел эту двойную фамилию (правда, без инициалов) в столбенецкой газете «Путь вперед» от 2 ноября 1930 года, которую просматривал случайно, по другой надобности; от совпадения екнуло сердце. И хорошо, если это было лишь совпадение. Статья была подписана К. Диалектический и называлась «Когти Пуанкаре в заволжских лесах».

В ней говорилось про обострение классовой борьбы в уезде, поминались осужденные поджигатели 1928 года Свербеев и Фиге, а также «те, кто с помощью религиозного дурмана пытались саботировать великую борьбу по ликвидации кулачества как класса», и среди них – Милашевич-Богданов. Нет, конечно, совпадение (но двойное, надо же!). Во-первых, религиозная тематика никогда его всерьез не интересовала, тут он был (как и во многом другом) далек от модных увлечений эпохи. Во-вторых, невозможно и представить себе, каким образом Симеон Кондратьич мог иметь отношение к деревенским делам. Хотя Столбенец окружен был деревнями и жизнь в нем, особенно в слободах, была полудеревенской, Милашевич крестьянской теме был принципиально чужд. В-третьих... значит, и в-третьих был ни при чем. Не стоило даже об этом думать. Разве что проверить, посмотреть соответствующие дела. Но добраться до них было посложней, чем до следственных жандармских документов, Лизавин и не пытался. После той статьи он, честно сказать, уже и во все не усердствовал с поисками новых обстоятельств. Лучше не надо. Не обязательно. Не монастырской историей воспитаны. Смиримся, как с данным условием, что нет больше документов. Не знаем же мы до сих пор, кем был, скажем, на самом деле Шекспир, хоть целая армия исследователей кормится этой проблемой. И ничего. Для диссертации ему, в общем, хватало; даже того, что нашел, было, по чести, достаточно, чтобы успокоить научную совесть.

В конце концов не об одном Милашевиче, как уже было сказано, шла в диссертации речь. Более того, Милашевич занимал там заслуженно скромное место, несравненно более знамениты были другие местные уроженцы и деятели. Например, Иван Исполатов (тот самый, которому Максим Горький писал: «Роман ваш – крепко сделан и – гордость вызывает за людей наших»), или Федоров Дмитрий, Федоров Василий (не нынешний, конечно, а тогдашний), или патриарх местный, Фомин, единственный (кроме еще Федько), который не переехал в столицу, похоронен был на своей родине в областном центре, за что и была названа его именем улица, а также школа. Об этих и материалов хватало, и сами они рассказывали о себе охотно, порой даже слишком охотно; у них оказалось в достатке времени, чтобы с годами, как это бывает, даже обогащать свою память все новыми фактами, и фактам этим вовсе не обязательно было искать подтверждения в документах (например, выяснять, каким образом Дмитрий Федоров мог участвовать в гражданской войне, оставаясь все годы сотрудником губернского Пролеткульта), но при надобности и подтверждения бы нашлись. Другое дело, что Милашевич из всех оказался Антону Андреевичу породственному близок, наука тут ни при чем. Но, как постоянно напоминал Лизавину его научный руководитель Спартак

Афанасьевич Голуб, кроме чистого разума есть еще разум практический. Милашевич был, как говорят на ученом жаргоне, фигурой не шибко диссертабельной; не откопай Антон в его биографии революционного эпизода, может, стоило его вовсе исключить. Зато он не был обычной диссертационной темой, из тех, кого, получив диплом, больше не перечитывают, так они успевают обрыднуть. Другие были как попутчики в купе, с ними проводишь время, по возможности приятное и полезное, а все же необязательное. Симеон Кондратьич лег на душу. Некоторая невыявленность его образа не только не мешала, но была приятна воображению. Может, и наша история влечет тем же? – подумал как-то Антон Андреевич. – В других-то, каменных, сохранных, все слишком очерчено, только выписывай, к ним другой интерес; наша до сих пор не изжита, в ней провалы дразнят.

И надо же было случиться: когда диссертация была почти готова, Лизавина угораздило найти в областном архиве, среди бумаг, актированных за отсутствием ценности и предназначенных, судя по всему, к сожжению или, скорей, к сдаче в макулатуру, целый сундучок с бумагами Милашевича. Верней сказать, бумажками: беспорядочный набор тех самых фантиков, использованных на обороте, в них разобраться можно было не один год – хоть откладывая защиту. Теперь-то уже не грех признаться, что в первый момент Лизавин ощутил, кроме радости первооткрывателя, еще и смущение, и досаду, и странную тревогу. Эти противоречивые чувства усугублялись сомнительными обстоятельствами, при которых фантики попали в его собственность; как тут ни объясняйся и ни крути, он их, мягко говоря, похитил из хранилища – но об этом лучше рассказать особо. А тогда Антон Андреевич всерьез терзался проблемой: сообщить ли ему о своей находке хотя бы тому же Голубу. Решил пока подождать и, наверно, правильно сделал. Хотя бы потому, что уже при первом просмотре выяснилось, что никакой принципиальной информации листочки прибавить к его диссертации не могут. Это были в основном всевозможные черновые заметки, наброски, а то и отдельные словечки, мысли, выписки и тому подобная, не всегда удобопонятная всячина,

а документа – ни одного. Их можно было считать особой темой, которой стоило вплотную заняться потом, да и времени уже не было. Так он и поступил.

А потом чем дальше, тем больше возня с фантиками стала вытеснять другие его научные занятия, может быть, более ценные и плодотворные. И чем больше он зарывался в оборотный ворох, тем меньше в Милашевиче понимал. А главное, чем дальше, тем больше нарастало чувство неясной поначалу тревоги, неудобства какого-то внутреннего. Правда, для смуты душевной у Лизавина прибавлялось причин и помимо ученых занятий, однако ему порой казалось, что ход этой работы и обстоятельства собственной жизни связаны какой-то неслучайной зависимостью.

А может, эта тревога была порождена несколькими странными записями, на которые Лизавин натыкался то при одном, то при другом разборе; непонятные, смутные, они однажды составились под его руками в нечаянную связь – и слова вдруг кольнули, будто обращенные к нему:

*Что со мной было, пока я не умер? Не помню. Это и есть смерть.*

*перемена памяти*

*зрячие, подробные пальцы слепца ощупывают темноту, выявляя в ней очертания*

*вот, вот, ты уже близко. Я чувствую, я слышу. Господи! Каждый шаг отдается во мне дрожью*

*сближает, сводит с разных концов, все ближе, все ближе... ах, только бы не пронесло!*

*столько ждать, беззвучно, не шелохнувшись*

*Так больно, так тяжело. Неужто не слышишь? Ну вот же я, вот! Ты трогаешь пальцами вещество моей души, моего ума.*

*да не оглядывайтесь же, Господи, это я вам!*

## 2. Линии судьбы, или Сундучок Милашевича

### 1

Как вы хорошо в одном месте сказали, Симеон Кондратьевич: зря мы, люди пишущие, стесняемся совпадений, которые могут показаться подстроеными и слишком многозначительными. Мы сразу начинаем оправдываться, ссылаться на жизнь, где таких совпадений куда больше, ведь в самом же деле, сплошь и рядом. Да еще не на все мы обращаем внимание, они там для нас ничего не значат, бессмысленные, тогда как в литературе нагляден замысел и умысел. Но ведь, обращившись на прожитое, мы и в переплетениях судеб можем выявить будто бы некий узор, оформленный, как оформлено все в живой и неживой природе, заставляющий думать: не сходятся ли доступные нам представления о смысле и красоте в некоей изначальной общей точке? Другой вопрос, существует ли он взаправду, этот узор. Для кого как, – отвечают некоторые. Быть может, совпадение вознаграждает способность уловить среди мировых шумов обращенный к тебе голос, даже, если ты сам не понял этого? Бываем же мы гениальны в любви, когда единственное слово или даже движение

порождает необъяснимый отклик, но если он не состоялся, значит, слово не угадано и любви нет, развеялась в воздухе. Чтобы удостоиться отношений с судьбой, надо, быть может, верить в нее. И если у тебя из-под носа ушел трамвай, будь внимателен: не без умысла ли подсунут тебе следующий; хорошо, если душа окажется в нужный момент чуткой и напряженной. Впрочем, это хорошо в любом трамвае, да только быть чутким все время не хватит сил. И тогда с трезвой усмешкой мы признаемся, что смысл и узор вообще лишь привиделись нам задним числом, что связный сюжет жизни – уловка малодушного ума, а на деле есть навал обрывков, есть бред умирающей старухи, которая лишь думает, будто объясняет что-то, и женщина, которой ты в единственный миг не заметил, дожидается не тебя – почему? стоит ли в самом деле искать смысл, причину, вину, возвращаясь вспять по цепочке нелепиц и совпадений, которая изменила твою жизнь, может быть, уже тогда, когда ты по ошибке сунулся не в ту дверь и набрел на сундучок, сгустившийся из литературного сна?

## 2

Искал тогда Антон Андреевич в областном архиве совсем другое: сведения о столбенецком поэте-самоучке Ионе Свербееве, деятеле Нечайской республики. Про эту республику Лизавин тоже не знал ничего, кроме названия, но в каталоге ему случайно попалось упоминание о папке с относящимися к ней документами (1918–1919 годов), он захотел ее посмотреть – и почему-то ему ее сразу не выдали. Главное, хоть объяснили бы толком причину – нет, как всегда, нужна была многозначительная уклончивость: дескать, подождите, там кое-что сперва надо посмотреть, выяснить. И вот что еще интересно: он ведь без этой папки мог вполне обойтись, прямого отношения к его теме она скорей всего не имела, – но поди ж ты, настаивал, хотя всей кожей неприятно ощущал уже настороженность хранителей местного исторического сырья к постороннему, который зачем-то вздумал лично коснуться необработанных и возможно небезвредных для здоровья залежей. Зачем? для какого умысла? не проще ли обратиться к уже извлеченной, обезвреженной и даже полезной продукции на искомую тему, продукции, которую поставляют профессионалы, имеющие проверенный иммунитет для работы с сырым веществом? Впрочем, может, все это ему и почудилось. Воспитание Антона Андреевича, увы, начиналось в годы, когда и газеты старые выдавали в библиотеках

не сразу, требуя объяснений и письменных подтверждений. И хотя сейчас Антон имел, что предъявить – на бланке, подкрепленном официальными печатями и подписями, с этой последней папкой его мурыжили полтора месяца, а он все не решался потребовать объяснений более внятных.

### 3

Какое там требовать! Лизавин испытывал в этом здании необъяснимую робость. Она начиналась уже в прихожей бывшего особняка с фанерной стенкой между ободранными колоннами, где всегда дежурила женщина-милиционер пугающей гренадерской комплекции. То есть, конечно, не одна, их там сменялось несколько, может быть, взвод кариатид, но все, как на подбор, таких же статей, с могучими бюстами под синим форменным сукном, сержантскими лычками на ватных плечах, яркими, в общий цвет крашенными губами. Эта одинаковость породы и помады, портупейная сбруя, блеск хромовых сапог вызывали почему-то мысль о казарме ампирно-конюшенной архитектуры. Ему было совестно за это ничем не обоснованное видение, но духи их пахли лошадиным потом, волосы уложены были у всех в сетки по моде сороковых годов – как будто с тех пор и несли они неженскую свою стражу, не старея, не рожая детей, лишь разбухая и раздаваясь. Годы спустя, когда милицейская кариатида явилась страшилищем его снов, одно детское воспоминание объяснило Антону исток этого страха. Душный запах обволакивал его, предъявлявшего пропуск и раскрывавшего для проверки папку; он не проходил, а протискивался мимо, весь как-то уменьшаясь, съеживаясь, с чувством, будто великанша может всего его при надобности промять, прощупать и

только пока пренебрегает его ничтожеством.

Кто хочет, волен конечно же посмеяться над пугливым воображением провинциала, воспитанного для занятий скромных и непритязательных, в оправдание свое Лизавин мог бы сказать, что в других хранилищах он подобных чувств не испытывал. От себя добавим, что такого рода пугливость родственна воображению, она им рождается и его поощряет, так что может иногда обернуться художественным достоинством. Но вообще – что говорить! Антон принадлежал к разряду людей, которые, постучав в дверь и даже легонько, но безуспешно толкнув ее, поворачивают обратно или ищут другой проход. Особенно если на двери висит какая-нибудь строгая табличка. Хотя дверь надо было просто потянуть на себя, а табличку эту, может, повесили временно Бог знает когда, да так и не позаботились снять – она вроде ископаемой надписи, предупреждающей богатырей о запретной, но потому и соблазнительной дороге. Где те богатыри? а новые сами знают, куда и как сунуться. То-то и оно – Лизавин к их числу явно не принадлежал, такие, глядишь, и влезают в дурацкие приключения. Будто вдруг припекло, вот ведь что интересно. Все-таки о диссертации шла речь, о кандидатской степени, а значит, о хлебе насущном – так он расплалял сам себя, презирая собственную слабость, и эта взвинченность стыда, пожалуй, больше сомнительных доводов о

хлебе способствовала дальнейшему. Словом, он толкнул, наконец, плечом указанную ему служебную дверь с запретной скрижалью – и то ли в самом деле ошибся, то ли не дослышал дальнейших объяснений, но очутился не в кабинете, а в неопределенном коридорчике или предбаннике, из которого вели две другие двери. Постучал в левую – оказалась закрыта, открыл правую, по инерции спустился с трех ступенек... Вот тут бы ему надо было, конечно, вернуться, переспросить, но он прошел, еще в надежде встретить живую душу, а когда надумал вернуться, за спиной, как теперь помнится, оказалось сразу три двери, и он не был уверен, в какую лучше идти... – ах, как выходило неловко, досадно, нехорошо, одна теперь забота была – выбраться, но, увидев на горизонте фигуру местного служителя, окликать постеснялся, не хотелось объяснять, как сюда попал, не стоило привлекать слуха кариатид, как-нибудь сам... вот три ступеньки вверх...

## 5

*вот, вот, ты уже близко. Я чувствую, я слышу. Господи! Каждый шаг отдается во мне дрожью... сближает, сводит с разных концов, все ближе, все ближе... ах, только бы не пронесло!*

Да, теперь-то, Симеон Кондратьич, когда заранее знаешь, что вы друг друга нашли, в самом деле представляешь себе, как некий воспетый вами глаз с красными сырыми прожилками следит за блужданиями нелепой фигуры по запущенному лабиринту: вот не туда было подался... но нет, вернулся... еще немного, Антон Андреевич, уже теплей, теплей... и даже дверь, спружинив, с грубоватой бесцеремонностью подталкивает заколебавшегося было странника в спину. По темным служебным внутренностям, как будто вглубь. Грязные окна по брови уходят в асфальт, на голых кишках, на отопительных сосудах набухают капли. Под ногами хрустит осыпавшаяся известка. Может, кто-то даже и заметил его, но не обратил внимания, такой у него был интеллигентный, свой вид. Курточка, галстук, бородка, папка в руках... Нет, папки, помнится, не было. Но не оставил же он ее в читальном помещении? Ничего не оставил, ничего у него там не пропало. А и прийти без папки не мог. Или мог? Вот ведь, Симеон Кондратьич, поди суди о достоверности чужих свидетельств, если сам спустя всего лишь несколько лет не можешь твердо сказать, была ли у тебя тогда в руках папка. Да и бородки вроде еще не было... но это можно уточнить по датам. А вот чувство свежо: стоит и сейчас прикрыть глаза – будто во сне. Хруст шагов отдается эхом. Лицу неприятно

ощущение липкой паутины – она была призрачна, как здешний воздух и зарастала тотчас же за спиной. От стеллажей сбоку пахнет карболкой тифозных барачков. Залежи папок, сплюснутые черепа. Вдруг что-то скребнуло в плечо, споткнулся, вздрогнув, о банную шайку, подставленную на полу под капель – теперь осталось сделать еще несколько неверных шагов, чтобы увидеть перед самым носом такую же шайку в медвежьих когтистых лапах и услышать недовольный голос:

– Явился, наконец!

Медведь стоял на задних лапах, облезлый, похожий на дворника, в островерхом матерчатом шлеме на голове и с козьею ножкой в пасти; шайку он держал перед собой, как блюдо старинного гостеприимства. Окна в полукруглой зале на треть забиты фанерой. За спиной медведя высился громадный глухой шкаф с прикнопленной к дверце афишей: «Волшебный фонарь. Вечер удивительных сенсаций и иллюзий в натуральную величину». На шкафу был виден сам этот фонарь, а еще пыльный стеклянный цилиндр с рукописной надписью на бумажке: «Человеческий мозг в спирту». Ни того, ни другого в банке, однако, не осталось, только усохший комочек неопределенного цвета прилип к стеклу. Остальное пространство было загромождено кипами бумаг, папок, газет, перевязанных бечевками и сваленных одна поверх другой прямо на полу, как в пункте приема макулатуры. Спрессованное собственной тяжестью, это слоистое вещество слипалось в одну неразделимую первобытную массу, кое-где оно оползало, как тесто. Зеленый налет был на всем. Прозрачные мокрицы слизывали следы выдавленных чернил, имена незнатных жителей земли, от которых не оставалось теперь даже голосов; копошились внутри трупные черви, превращая в труху остатки жизней и загадки смертей, шепотки доносов, задушенные вопли, объяснения в любви – все ис-

чезало бесследно, как не исчезают даже людские тела, а разве что гриб, не оставляющий после себя и твердой косточки. Подгнившим временем пахло здесь, заплесневелой порченной памятью, мышинным пометом и отсырелым водочным перегаром. Не эти ли запахи чуял Экклезиаст, говоря о земной тщете?

Но все это мы ощутим потом, когда немного придем в себя. Вначале же Антон увидел лишь плохо выбритое болезненное лицо служителя в сером рабочем халате.

– Почему один? – спросил тот, Красные глаза его были подернуты мутной пленкой служебного безумия. Лизавин открыл рот, чтобы ответить, но на служителя напал вдруг неудержимый чих. Должно быть, мучился, бедняга, аллергией от несовместимости со здешним воздухом. Где-то вдали насторожилась, наострила уши кариатида. – Пр-р-так, – мотнул головой служитель, избавляясь от последнего приступа и вытирая нос полой халата. – Каждый раз одно и то же. Как хочешь, начинай пока один, ждать некогда. Да тут немного.

И прежде чем Лизавин успел осмыслить его слова, он продемонстрировал будущему кандидату наук всю бредовую простоту ситуации – безо всякого ключа открыл высокую дверь, выходящую прямо во двор, как анальное отверстие, которое есть ведь и у кариатид наряду с недремлющим скульптурным зрачком. Впритык к дверям, задом стояла телега. Возница равнодушно сидел спиной, ожидая погрузки.

– Вон из того угла носи, – сказал человек в халате, и Лизавин, представьте себе, принялся таскать пачки, заменяя или оттягивая этой нетрудной помощью объяснение, даже с глу-

пым, почти благодарным чувством, что эта деятельность как-то оправдывает его проникновение в запретные места и зачтется в случае чего.

Как он углядел среди этих оползней свой сундучок? Теперь даже не вспомнить, что его потянуло в ту сторону. И он сам поначалу не понял даже, что узнал этот футляр от швейной машинки «Зингер», только поплотнее, эти зеленые от плесени гвоздики и латунные уголки, будто виденные во сне, в беспамятном младенчестве или еще до рождения – ложное воспоминание о не виденном никогда. Замка на сундучке не было, деревянная ручка полуоторвана. Стенки с двух сторон как будто испачканы черным – обгорели. Изпод крышки высвободился нездешний запах, хранившийся Бог весть сколько лет: запах лампового керосина, гари, клопов, запах болезни, забвения, прели, сухих, но уже подгнивших трав – проба воздуха, нечаянно попавшего сюда на хранение, вздох исчезнувших времен, а может, и частица дыхания того, кто наклонился над сундучком последний раз, закрывая его наглухо... – приготовиться бы заранее, уловить в пробирку, чтобы потом вникать в состав, способный много сказать душе... Неужели и это прибавило воображение после, когда он, сидя над бумажками, вспоминал, как увидел их впервые? – трезвый ум требовал предположить, что сундучок уже открывали, должны были открыть хотя бы для того, чтобы решить судьбу содержимого. Но либо здесь неуместен трезвый ум, либо остатки запаха все же держались, как

держалась в углах поволока седой паутины, в ней невесомые мумии двух паучков – верные до конца стражи уцененных сокровищ. Несколько фантиков были перевернуты исподом вверх, и почерк заставил сердце Лизавина вздрогнуть.

Когда он обернул к служителю растерянный взгляд, тотпил лекарство из медицинской мензурки с делениями. Щетина на его щеках успела стать заметнее.

– Чего нашел? – неустойчивые кроличьи глаза восприняли наконец Антона. Взял из медвежьей пасти сигарку, пососал, не закуривая, и вернул обратно. Запах спирта, испарившегося, должно быть, из цилиндра и уже испорченного в перегар, понемногу перебивал все прочие. Обостренный сыростью, он щекотал ноздри, и Лизавин не сумел ответить – теперь вдруг на него напал чих. – Что за сундучок? – наклонился тот над крышкой. Изнутри она была тоже оклеена разноцветными фантиками, они заменяли обычные картинки провинциальных сундучков. – Инвентарного номера нету? Ну, не трожь пока, оставь. Хотя сбоку горелый...

– А-а, – беспомощно показал Лизавин внутрь, на содержимое, но закончил столь же беспомощно: – пчхи!

– Собираешь? – без слов понял служитель и взял в пальцы несколько фантиков. – Так они ведь испорчены. На обороте-то.

– А-а, – продолжал мучиться Антон Андреевич, и, удивительное дело, собеседник понимал этот его язык даже лучше членораздельного, как собственный, проникая помимо слов не то что в мысли (Антон о таком и не думал), а в подсозна-

ние.

– Ну, бери, если нужно. Тогда здесь вынеси, там могут не пустить. А сундучок пока оставь. Тара у тебя есть своя?

– А-а, – приступил Лизавин, но от неожиданности или от чего другого не закончил – чих прошел так же внезапно, как начался... То есть какая могла быть тара в святилище, куда запрещен был для проноса любой портфель? Антон вспомнил, однако, про сетку-авоську, которую всегда носил в кармане для магазинных okazji. Фантики, освободясь, расплывались, как опара. Вдвоем запикивали их, сосредоточенно сопя друг другу в лицо перегаром, сталкиваясь лбами. (Ах, кому не знакома эта способность хмельеть от чужой выпивки и заражаться чужим безумием! У некоторых она бывает развита до смешного.) Под фантиками показалась сложенная вчетверо афиша, она очень пригодилась для обертки, потому что бумажная мелочь продавливалась в ячейки сетки. Время со слезным звуком капало в таз, в отдаленной конюшне еще не почуяли тревоги, но Лизавина сосала тоска сомнительной авантюры, в которую его вовлекал непонятно кто и непонятно зачем. Сказать бы, чтоб это оставили здесь, и потом здесь поработать... Но с другой стороны, кому это покажется ценным, кроме него? Сожгут. Неизвестно чья ерунда. Тут завалы посерьезней не освоены. Если спросят, скажу, как было... мол, заблудился, попросили, я не смог отказать, я плохо умею отказывать... Господи! сочинить можно правдоподобней, а это выглядит прямо как сюжет Симеона Кондратьича.

Нехорошо. Лучше что-нибудь другое, ну, скажем...

Дверь захлопнулась, скрипнув, за спиной. Коза, привязанная к колышку, обдирала кору с сухой липы.

Большая лужа натаяла посреди двора. У сарая лежали остатки истраченной за зиму поленницы. Лишайи заледенелого снега еще держались в тени. Процокала по булыжнику лошадь. Возле покосившихся ворот на заборе трепетали полуоборванные ссохшиеся объявления, афиша с тонконогими буквами заголовка в черных тяжелых калошах по моде начала века.

### «МАССОВАЯ ВСТРЕЧА 1923 ГОДА

*начнется в 12 часов ночи по сигналу оглушающего взрыва заряженного динамитом прибора и светло горящего над городом фейерверка.*

*На площадь Свободы (бывш. Торговая) движется украшенная темным цветом и черными флагами с лозунгами важнейших событий 1922 года повозка. На ней сидит фигура, изображающая дряхлого старика (старый год). Фигура громким голосом объявляет прошедшие события 1922 года. Участвующие массы шумными овациями провожают фигуру. Звучит погребальный салют: три залпа ружейных выстрелов. После салюта от клуба имени Красного героя товарища Перешейкина по тому же пути медленно движется ярко разукрашенный красными флагами и лозунгами предполагаемых важных событий 1923 года автомобиль. На нем стоит светящаяся фигура юного мальчика. Фигура громким голосом объясняет события, намеченные в 1923 году. Собравшиеся принимают ее овациями и криками «Ура!»*

### «ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*В целях урегулирования жилищного вопроса предоставить всем гражданам, проживающим в частновладельческих домах, право самоуплотнения до 15 апреля с. г. с тем,*

чтобы на каждого жильца приходилось не более 16 кв. аршин.

За сокрытие жил. площади – штраф 300 руб. золотом или принуд. работы до 1 мес.»

«Ввиду того что вывешиваемые плакаты, воззвания и объявления беспощадно срываются и уничтожаются как контрреволюционными элементами, так и бессознательными озорниками, предупреждаю, что лица, виновные в уничтожении плакатов и постановлений, будут арестовываться и предаваться суду.

Начальник милиции АРЕСТОВ»

«ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ!

Шпагоглотатели, кармановниматели и все, на что способны и никогда не были способны работники искусств!

Босяк Райский будет ходить по потолку и угадывать желания публики.

Бояны революционных песенок Ваня и Миша Терентьевы исполнят куплеты на злобу дня.

Прибывший из Владивостока багажом непобедимый боец Сацира-Сакура вызывает желающих на поединок. Пока записалась Соня Светлова. Кто следующий?»

Афиша и несколько объявлений, заскорузлых от грязного клея, кое-где ободранных с мясом, свидетельствовали о коллекционерском азарте. Об этой самоотверженной страсти заставляли размышлять и некоторые фантики. Около десятка из них, например, имели надпечатки денежных талонов, вернее, именно безденежных, они так и назывались: «Талон на безденежную выдачу» – хлеба (5, 10 и 20 фунтов), дров, керосина, ржи, каждый со своим рисунком; особо были детские талоны на патоку (тянучка «День Ангела» с изображением знакомого херувима и стихами:

Будет жизнь твоя сладка  
И щедра наша рука).

На каждом талоне указывался срок годности – на единственный месяц – январь, февраль или март (годом пренебрегали); то есть, чтобы оставить его в коллекции, надо было, возможно, отказаться от продуктов. Впрочем, талоны могли быть просрочены или недействительны, могли быть только заготовлены, однако не пущены в оборот, и все же вид их наводил на память рассказы о чудаках, предпочитавших бедствовать и помирать от голода, но не менявших сомнительные свои сокровища на хлеб насущный. Если угодно, вот

еще духовный всплеск: на фантичном боне ценой в тысячу рублей дарственная надпись: «*Дорогой Роксане на долгую память*». На обороте – черноволосая красавица с лейкой из популярной песенки ушедших лет:

А наутро она уж улыбалась  
Под окошком своим, как всегда,  
И рука ее нежно изгибалась,  
И из лейки ее текла вода.

Упомянем также отстуканный на машинке фантичный билет «На прослушивание радио в течение 2 мин., цена 1500 руб.», фантичный мандат «Нечайского санитарного диктатора», а из бумажек другого рода – обрывок чьего-то памятного списка со словами: «*Об исцелении рабы Божией Евфимиш, о замужестве Степаниды, для Меланьи о разрешении от бесплодия, для Федора Иваныча о защите от притеснений (и новом котле)*», четвертушку из именного блокнота с виньеткой почему-то в виде палитры и кистей (очевидно, другой не нашлось в запасе типографии), прочесть можно было только:

Губернский  
тов. Карл  
уполномоченный  
по борьбе

На обороте неизвестной рукой были выписаны в столбец четыре крестьянских фамилии (*Меринов Федот, Загребельный Иван, Губанов Илья, Викулов Пров*).

Вообще же все чистые обороты листков, даже иногда с переносом на сторону с рисунком, были заполнены почерком Симеона Кондратьевича. Видно, в какой-то период бумажки подбирались им не только из коллекционерского интереса, но еще из нищенской нужды.

Об этой нужде свидетельствовала и старая, почти выпотрошенная амбарная книга купца Басалаева; в сущности, там оставалось четыре листа, и то оборванные. На первом еще шел хвост старого списка, который начинался рожью, а заканчивался далматским порошком от клопов. Тут же, в конце листа, рукой Милашевича были выписаны несколько неизвестно к чему относящихся заголовков – возможно, перечень неосуществленных замыслов: *«О словах, или Начало новой веры»*, *«Ум цветка, или Попытка счастья»*, *«Федор Иванович и Гертруда»*, *«Ковчег, или Камень еще пригодится»*, *«Утраченный сад, или Божья хитрость»* и т. п. (Симеон Кондратьич любил старомодные двойные именованья.) Последний заголовок, между прочим, перекликался с названием упоминавшегося ганшинского трактата, но непонятно, какое он имел к нему отношение. Еще менее понятно, что значил тот же «Утраченный сад» в другом списке, на следующей странице. Несмотря на оборванное начало, ясно было, что Милашевич составлял здесь черновую опись предметов, сохранившихся в разоренной ганшинской усадьбе ко времени создания в ней музея (фламандский кабинет, декорированный черепахой на фольге, данцигская резная рама от зеркала и т. п. – вплоть до какой-то мерной линейки с насечкой). Разными чернилами и, очевидно, в разное вре-

мя в этот список добавлялись предметы, которые Симеону Кондратьевичу удавалось разыскать по деревням; среди них граммофон фирмы «Пате», а также машинка для тасовки игральных карт, мухоловка с часовым механизмом, чесальная ручка для спины (против этой ручки стоял знак вопроса, а на другой странице можно было прочесть о ней небольшой сюжет); и, наконец, этот самый «Утраченный сад» с пометой в скобках: «3 куска». Эти «3 куска» окончательно сбивали с толку; ну, да и Бог с ними. Полстраницы занимали в книге маловразумительные записи беглых садоводческих наблюдений: «27 апр. № 2 семядольки, № 4 нет всходов» – и т. п. Кроме единственного художественного обрывка, особого интереса ничто в этой книге не представляло, и Лизавин довольно быстро отложил ее в сторону.

Упомянем также чье-то письмо на четырех листках хорошей бумаги, исписанной с обеих сторон некрупным ровным почерком с просторным воздухом между строк. Начало и конец с указанием адресата и подписью отсутствовали, но по содержанию вычитывалось, что пишет мужчина к женщине, с которой встретился неожиданно после двадцати лет разлуки; когда-то их связывали сложные, видимо любовные, отношения, но потом он женился на другой, она тоже вышла замуж – письмо звучит как запоздалое объяснение *«вдогонку, после прощания»*. (*«Мы ухитрились при встрече даже не задать друг другу вопросов, которые висели в воздухе»*.) Тут любопытна сама ситуация встречи: женщина, как можно понять, в замужестве сменила фамилию, и он, приехав к ней, должно быть по делам, не предполагал, кого увидит: *«Я, видимо, оказался растерян, просто не готов к такой встрече. Фамилия, которую я знал по бумагам, с тобой не связывалась никак. Прими, кстати, запоздалые поздравления, за все годы сразу. Я даже это упустил сделать»*

Похоже, что и после двадцати лет встреча вызвала в нем смятение, отчасти комичное: *«Почему я не остался хотя бы на ночь?»* – считает нужным оправдываться он и сам называет свое поведение *«бегством»*. Из письма возникает образ усталого, ослабевшего, но когда-то, видно, незаурядного че-

ловека, дореволюционного эмигранта, не нашедшего места в новой жизни; он рассказывает о своем не слишком счастливом и не слишком долгом браке – все прошло, жизнь не сложилась, бывшая жена и сын теперь неизвестно где, но он никого не винит, ни о чем не жалеет. Ну, и в том же духе. Лизавин так и сяк пробовал примерить это письмо: не Александре ли Флегонтовне оно адресовано, – нет, не сходилось. Возможно, Милашевич хранил его, собираясь как-то использовать в литературных целях, сказать трудно. Ни к каким известным сюжетам и обстоятельствам его жизни оно явно отношения не имело, а потому, увы, пришлось отложить его в разряд посторонних.

Чтобы покончить с разделом сравнительно крупных бумаг, из чисто научной добросовестности (право, не знаем, что посоветовать тому, кого такой ученый уклон вгоняет в скуку; разве что пролистнуть сразу дальше; но Лизавин-то себе этого позволить не мог), – итак, опишем еще мятую, замызганную, белыми нитками сшитую тетрадку in octavo, без обложки, опять же без начала и конца. Эту Милашевич подобрал разве что из любви к курьезам. Почерк коряв, как будто пьян, буквы чем дальше, тем все крупней и невразумительней, чернила грязные, слабые, кое-где почти невидимые, заменяются со второй страницы химическим карандашом, но он грязен еще более (там, где употреблялась слюна), а где слюна не употреблялась, совсем плохо различим. Поверхностный взгляд на эти строки, почти без знаков препинания, заставлял предположить в писавшем человека не шибко грамотного, но чтение наводило на мысль, что он был скорей – как бы это сказать помягче – не вполне умственно благополучен.

*«Если нарисовать молекулу она устроена как планетная система Или атом забыл Неважно Представим что на планетах невидимых как на нашей кишит жизнь...»* Какой-нибудь местный Циолковский. Добавим, что страницы были перепачканы и склеены какой-то коричневой гадостью, без

запаха, правда, но все равно можно понять, почему Лизавин брезговал даже расклеивать их. И зачем, собственно? С трудом разобрал он на последнем обрывающемся каракули: *«межзвездная пустота нагромождение камней Нужна все время энергия...»* Надо бы это вовсе выбросить, но Лизавин все не позволял себе – из упомянутой добросовестности, надеясь когда-нибудь все же прочитав, преодолеть брезгливость. А может, из жадности – он тоже любил курьезы.

Перейдем к вороху, покопаемся вместе с Антоном Андреевичем – хотя бы бегло; что делать, без этого не понять дальнейшего. Неровности и заусеницы от ножниц, различимые невооруженным глазом, свидетельствовали, что фантики нарезались иногда от руки или отрывались по сгибу из крупных полос, вроде тех, на которых печатался одно время «Поводырь» – четыре картинки в ширину, а в длину сколько нужно. Это подтверждало мысль, что Милашевич для некоторых целей сам предпочитал мелкий формат, а не пользовался им вынужденно. Исписаны листки были то густо и мелко, хорошими чернилами, пером тонким и твердым, какими сейчас не пользуются, и, очевидно, в домашнем уюте, то явно кое-как, на ходу, а может, и на тряской телеге, химическим наслюнявленным карандашом и почерком соответственным; вся запись порой состояла из оборванной, для себя, полуфразы (с маленькой буквы и без заключительной, точки) или даже единственного невразумительного словца. Были бумажки испачканные, как будто подобранные с земли, а к одной пристал засохший кусочек несомненного навоза; на ней, кстати, значилась загадочная и не совсем приятная надпись незнакомой рукой: «От Троцкого». Немало листков было помято; это заставляло вспомнить поэта, хранившего рукописи в знаменитой наволочке, на которой спал.

Симеон Кондратьич наверняка предпочитал спать удобнее, но к такому сравнению располагали некоторые собственные его пассажи.

*«Мысль, застигнутая врасплох, впечатление, пойманное на лету... нет, не пойманное – в пальцах осталось перышко, а то и пушинка. При методичности можно собрать из них подушку или даже перину – перышко к перышку, отборную».*

*«Можно накопить перышек и составить чучело, совсем как живое, – варьировалась та же мысль на другом фантике. – Нет, жизни-то в нем и не будет».*

Это звучало как философствование о жанре, достаточно уже известном – жанре коротких фрагментов, остановленных и укрупненных мгновений. Симеон Кондратьич со своим пристрастием к лупе явно знал в нем толк. На фантиках встретишь и осу в жарком колоколе цветка, и нежную пыльцу на тычинках, и стук ложечки о стакан, шорох конфетной бумажки, муху в варенье – радости провинциального чаепития; гудит печка, колеблется в плошке фитиль, огонек, отражаясь в стекле, переносится во внешнее пространство, будто надеется обогреть его даль. Все приобретает значительность, укрупняется: глоток горячей жидкости, шаг на улице, домашняя стирка, *гроздь пены в тазу* и еще мельче: *перепонки пены*. На ту же тему были и некоторые обрывки мыслей, вроде, скажем, такого: *«Даже не слово, а возглас, междометие, попытка слова. Евангелия составляют потом ученики»*. Или: *«ты все можешь принять, все вместить: небо,*

*траву, клумбу и растекшееся солнце»...* – дальше целый перечень, который можно опустить; но не о том же ли это самом: о возможностях фантического жанра?

Однако далеко не все фантики поддавались толкованию в духе сознательного жанра, вообще какому-либо толкованию. Отчасти тут был род записной книжки, инструмент и документ повседневной многообразной работы, плод литераторского рефлекса, когда прихватываешь для надобностей или впрок всякую попутную мелочишку. Иногда Лизавин живо себе представлял, как этот библиотекарь в пенсне, в толстовке и со шнурком вместо галстука достает из оттопыренного нагрудного кармана коробок (или, допустим, портсигар), набитый фантиками, и, отделив один, делает выписку из газеты; как он, в сапогах и белом картузе, сняв с химического карандаша жестяной наконечник, останавливается по пути у забора, чтобы переписать стишок или на кладбище надпись: *«Здесь упокоен бывший раб Божий, а ныне свободный божий гражданин Никита Фокин, проживший до своей смерти без перерыва 42 года»*; как он на базаре, на собрании, на ходу, задумавшись и забыв согнать муху со вспотевшего лба, заносит на листок мелькнувшую мысль, подробность, словцо, — повседневный мусор жизни... — и что же делает с этим дальше? придя домой, бросает в сундучок? или как-то использует? может быть, как материал для той самой книги, о которой говорил Семеке?

В иных фантиках явно можно было увидеть черновые наброски к неизвестным, а иногда знакомым сюжетам – уточненную деталь, поворот действия, реплику персонажа. Вновь возникало видение памятной лужи: *«Плот подплыл, мы на него всходим, и кормчий нас ждет. Осторожно, говорю я, не оступись»*. Как будто Милашевич примеривал продолжение, торжественный эпилог к давнему рассказу, с возвращением и сбывшейся встречей: *«Ну вот, говорил, еще будем чай пить?»* – есть и такая строка. Кстати, мы забыли еще раз упомянуть листок (не фантик) с записью о выстреле Гаврилы Принципа и херувимского вида мальчишке: так вот, очень похожий малыш появляется несколько раз на фантиках: то играющим среди цветов и трав, то в серой левинсоновской курточке, то есть форме столбенецкого свободного пансиона; слюнка любопытства и самозабвенного усердия стекает с детской губы. Собирался ли Милашевич развить неясный сюжет? Сказать невозможно, как невозможно бывает понять, кого обозначает на фантике первое лицо. Некоторые фразы передают ощущение то ли ребенка, то ли просто человека маленького роста; кто-то ходит в сапожках с каблуками внутренними, скрытыми, высокая шапка помогает казаться почти вровень с другими, кто-то тянется на цыпочках, держа дверную ручку вниз – на себя с трудом удается. *«В сумер-*

ках колени больших людей, незнакомый запах, в голой руке приближается пряник, сладость глазуриной корочки на языке, и через дверной проем из полутемной прохлады снова в кипящий свет». Что это? Конечно, ощущение детства, мгновение непонятого счастья: ребенок с улицы вошел в комнату, его угостили пряником, неизвестно кто, ему и не надо знать, знание не даст такого сияния чуда. Но кто этот ребенок? Сам Симеон Кондратьевич? Или тут просто очередной опыт «переносного глаза»? О собственном детстве, о семье, о матери Симеон Кондратьевич прямо нигде не вспоминает; можно предположить у незаконнорожденного сиротское, не слишком счастливое детство – не потому ли Милашевич предпочитает связной истории мгновения, изъятые из связи? – в таком остановленном качестве они скорей могут дать желанное чувство. Фантики, помимо всего, демонстрировали странное, но довольно последовательное отношение этого философа ко времени.

Если бы можно было хоть представить себе хронологический порядок записей, из них, глядишь, само собой сложилось бы нечто вроде движущейся картинки, и мы ощутили бы какую-то цельность жизни в ее развитии. Но даже садоводческие невнятные заметки в амбарной книге, отмечая числа и месяцы, годом пренебрегали – что говорить о клочках. Сам способ ведения этого, с позволения сказать, дневника характеризовал именно художественно беспорядочную натуру, а не точного естествоиспытателя. О датах кое-где можно было судить лишь косвенно, например, по надпечаткам на обороте фантиков. Так, надпечатка на «Опохмельной» – «Долой пьяный угар» позволяла датировать запись не ранее чем годами нэпа. На «именинной» карамели «Вера» 30 сентября было исправлено типографским же способом на 27 июля, и Лизавин совершенно случайно сумел расшифровать смысл этих новых святцев: в «Поводыре» за 1923 год ему попался призыв праздновать именины не в честь сомнительных святых (вроде неизвестной гречанки Веры), а в дни рождения известных революционеров, например Веры Засулич. Встречались косвенные указания иного рода. Взять, скажем, начало переписанного откуда-то стихотворения: *«Уже идет девятый год Как мы имеем всех свобод»* (на обороте карамели «Юбилейная»). Ясно, что это 1926 год. Ну и что с того?

Нет, в этом невнимании к датам была своя система; о том же говорили и некоторые записи, которые можно было даже сгруппировать под общим заголовком.

## *О времени*

*Длительность времени создается веществом жизни, которым это время заполнено. Для души и памяти вечность неотличима от мига, в ней все присутствует одновременно.*

*Что это за тикающий механизм, который навязывает нам движение только в одну сторону? Мы поддаемся привычной инерции, даже не пробуя вникнуть: а почему, собственно? нельзя ли иначе?*

*Что, если наше устройство ума не единственно возможное, и последовательность нумерованных чисел условна?*

*Протянул руку – когда это было? И вот ладонь оперлась на мою. А что вместилось между началом движения и концом?*

*всей нашей жизни – четыре времени года, детская карусель*

*Семь старых рублей сейчас на миллионы считают. Так и семь Божьих дней переведи по научному исчислению.*

*Последняя запись, кстати, поддавалась косвенному, хотя и приблизительному датированию. К ней можно было присоединить еще вот такую: «время, когда берешь в долг пять-*

*сот рублей, а через неделю вынужден отдавать миллион»*; она, помимо прочего, передавала характерное для Милашевича ощущение разорванных связей, усугубленное революцией. Подбиралось еще несколько подобных фантиков, где время описывалось по приметам: *«легендарное время, когда в дальних деревнях бутылку продавали за полтинник, а в ближних и того дешевле»*; *«время, когда не вырабатывалось новых вещей, а шло проживание, латание и переосмысление старых»*. Или такой: *«Это было в год, когда Голгофер снова стал шить кошельки»*. Эпический зачин без продолжения; найти ему место – значило его понять, как и такой, скажем, образ: *«место преступления перед временем»*. Или еще короче: *«брызги времени»*. (Между прочим – не о самих ли это фантиках? Стоило поразмыслить.) В одном перечислении упоминались часы без стрелок – что-то из гипотетического рассказа. Иные строки давали Антону Андреевичу, так сказать, повод для медитации. Например: *«конца нет, начало искать бессмысленно»*. Можно было сопоставить эту запись с другой: *«По цепочке порождающих причин доберешься до основания мира, а все равно ничего не объяснишь»* – и увидеть здесь убеждение человека, который отказывается думать о происхождении, связях, истории, искать в истоки настоящего, как отказывается думать о смерти... Но можно было в первой фразе увидеть просто замечание о тетрадке без обложки, то-то и оно...

Антон Андреевич обзавелся двумя десятками картотечных коробков и постепенно рассовывал в них фантики, выделяя такого рода подборки. Например, диалоги, зарисовки пейзажные («*Воздух настоян на винных парах, от одного дыхания кружится голова*») или портретные (среди последних встретилось, между прочим, и знакомое отражение грустного обезьяньего личика, словно автор поскупился выбрасывать однажды найденное и приберег для нового употребления вместе с горячим самоварным боком), афоризмы («*Чужая слюна – плевок*»), заметки на садоводческие темы, включая ботанические приметы и суеверия («*Столетник увял – к чьей-то смерти*») и на темы вегетарианства. Особый коробок понадобился для всяческого фольклора, в том числе записанных анекдотов и разных стишков – от рифмованных призывов:

«Чтобы избежать холеры муки,  
Мой чаще хорошенько руки»,—

до длинного пророчества, начинавшегося строками

«Близок, близок этот час,  
Бездна вод обступит нас»,

и до строфы из романа:

Надо прежнее забыть,  
Больше некого любить,  
Больше некого искать,  
Лишь друг друга приласкать.

Был раздел литературных заметок (*«Вот то-то. Не в первый раз та же история. Или ты зажмурься, тресни, ослепни – или признавай, черт возьми, реальность, отразай, что показывают»*), были очевидные выписки и цитаты (*«Можно ли видеть дерево и не быть счастливым?»*. *«Они жили счастливо и умерли в один день»*). Выделилась, скажем, целая подборка о запахах: *«От него пахло кремом «Олоферн»*, – как краткая метка для памяти, вроде той, что употребляли индейцы какого-то племени: они носили на поясе набор пахучих веществ и нюхали в момент, когда надо было что-то запомнить; много лет спустя запах позволял восстановить всю полноту события, – или вот это, знакомое:

*Запах уксуса, прикосновение тоски, в какой прозябают души где-нибудь между раем и адом, но еще не в чистилище, в преддверье не начавшейся еще жизни, а может, смерти несостоявшейся.*

*способность улавливать из воздуха недоступное другим*

*Сборщик податей, урядник – скверно пахнет, не правда ли? А вот: фининспектор, милиционер.*

Последний фантик, впрочем, можно было поместить в другую подборку, о словах («слова-козлища и слова-агнцы» или даже – «слова от боли») – составила и такая. Особо по-добрался раздел об именах. Кроме коллекции разных частностей и курьезов (Арестов, Голгофер, «Мыльников меняет фамилию на Мельников») в ней оказались также общие размышления:

*Значащие имена – не выдумка классицизма: То ли возникли они из прозвищ, которые даются ведь не зря и говорят о свойствах, закрепившихся в наследственном веществе? То ли они влияют вдогонку, заставляя оправдывать ожидания?*

*Возможно, имя таинственным, неизвестным пока науке путем производит воздействие на сам телесный состав и даже на извержения телесные.*

*Все бы ничего, да имя неосторожное! При таком-то росте! А и на понятную уже нельзя. Вот беда, Господи!*

Тут, признаться, начиналось что-то не очень понятное. Или еще скажем: «Такое имя не помянешь вслух на улице, замахиваясь кнутом, да по матушке добавляя».

Едва ли не в каждом разделе находились такие странные, неизвестно к чему относящиеся записи. Что значит «волны ваши, навоз наш»? Или вот это: «нужен финн, чтобы напо-

минать о счастье»? Или даже такое: «особенно мы»? Тут можно было только ломать голову – если, конечно, решить, что это имело смысл. Какие-то сравнительно крупные записи, видно, не умещались на одном фантике и переносились на другой – переносы иногда удавалось разыскать, но это лишь прибавляло недоумений. Так, уже упоминался перечень, начинавшийся словами: «Ты все можешь вместить: небо, траву...» – последним стоял у самого края листа «выездной шарабан без колес» – и на другом листке перечень возобновлялся словами: «с петухом на козлах». Чернила, по черк – все подтверждало, что это писалось одним духом; ну а дальше что?

Среди портретных зарисовок у Милашевича были наброски отдельно глаз, носа, бровей, их так и хотелось приставить друг к другу. И не только их. Одну группу фантиков Лизавин даже озаглавил «Половинки сравнений». Они начинались сразу с «как будто»: *«как будто ты расставил на доске свои шахматы и вдруг заметил, что у противника расставлены шашки»; «как будто его, ржавевшего без дела, точно деталь ненужного механизма, подобрали, протерли керосином и вставили на прежнее место»; или: «так в труппе всегда есть собачка, не желающая слушать дрессировщика – на самом деле умная, знающая свою роль». Вот, если угодно, еще: «так льдины рассыпавшегося поля с обломанными кромками пробуют совпасть, соединиться опять»; или: «словно дуновение ветра перед тем, как солнце уйдет за облако»; или: «так рождается под растопыренными пальцами младенца нечаянный, еще не объясненный мир»; или: «это как заряд электричества в туче, пусть и не возникло молнии». Антону иногда чудилось: он знает, о чем это, и может найти недостающую половинку, во всяком случае соединить сравнение с собственным чувством. «Забава на вечерах в Общественном собрании, – словно подтверждал такую возможность Милашевич, – держа в руке половинку разрезанной карточки, найти в танцующей толпе человека со*

второй половинкой – он небось тоже ищет, тычется невпопад и не может осуществить целое: «Что кому, а зуб неймет». У Симеона Кондратьевича, видимо, был интерес к подобным забавам. В одном его рассказе дети развлекаются известной игрой: рисуют по очереди на загнутых частях бумаги один голову, другой туловище, третий конечности, не видя нарисованного друг другом, так что в результате возникают неумелые монстры то с птичьим клювом, мохнатым брюхом и рыбьим хвостом, то, наоборот, с рыбьей головой и крыльями, но с человеческими ногами в башмаках – нечаянные гротески, какими полна жизнь, упражнения на древнюю, как мир, тему. Много у Милашевича напоминает такие гротески: из фантиков вдруг выглядывает рогатое лицо с человеческими зубами; над клумбой, как цветок, поднимается раструб граммофона. Иногда за этим Лизавину чудилась какая-то игра, не обязательно даже умышленная, порой способная удивить и озадачить самого писавшего. Антон Андреевич подумал об этом однажды, когда стоял в очереди за майонезом; она была не такой уж большой, до угла, но почему-то совсем не двигалась, и он несколько раз порывался уйти, посмеиваясь над своей кулинарной слабостью, но каждый раз жалел уже потерянного времени и терял его все больше; а потом выяснилось, что майонеза уже не дают, да, кажется, и не давали, только обещали выбросить, – и вдруг все это соединилось с фразой «место преступления перед временем». Как разгадка с загадкой. Словно для этого и была

задумана. Если тут и впрямь была игра, то неизвестно, с кем и для чего затеянная. Но может, это вышло случайно, и не стоило искать здесь связи более глубокой, подозревать иногда чуть ли не шифр, таким же успехом (и смыслом) можно было подбирать совпадения неровностей и заусениц на разрезах, точно составлять из черепков ископаемую вазу. Так ведь вопрос, была ли ваза? и не предупреждал ли сам Миллашевич против имитации чучела? Кстати, записи о чучеле и перине тоже ведь стали рядом не сразу и не сами собой – попробуй, как Лизавин, подбери их из сундучного вороха, который, выпроставшись, разросся и стал настолько больше своего бывшего вместилища, что вряд ли влез бы обратно.

«Всякий ли нос ко всякому ли подбородку приставишь? – записал однажды Антон на небольшом листке. – А если уж соединились такой нос с таким подбородком, то это определяет устройство гортани, а может, и пищевода, зубов и желудка». Между прочим, он стал носить с собой в кармане такие листочки на случай мелькнувших попутно мыслей и наблюдении – те листочки, что продают в магазине канцтоваров по 26 копеек пачка со специальным названием «Для записей». Так как-то само собой получилось. Роскошная тетрадь с золотым тиснением «MACHINEEXPORT» на пластиковом переплете, куда он одно время любил заносить размышления и вольные фантазии, оказалась куда-то засунута, хоть в ней осталась не использована половина страниц, затерялась и подобающая ей паркеровская ручка с вечным, казалось бы, золотым пером. Кандидат наук давно писал шариковыми приспособлениями по 30 копеек штука, а если в магазине канцтоваров не случалось специальных листков, сам нарезал для себя осьмушки и держал для них особый коробок. Повлиял ли на него пример Милашевича (как повлиял на стиль, на построение фразы, что естественно и даже неизбежно при многолетнем близком соприкосновении)? Антон Андреевич над этим не задумывался, пока сам не обнаружил эту свою новую манеру, перебирая собственные свои разроз-

ненные записи.

«Морозные цветы на стекле, оказывается, тоже не совсем произвольны. Они растекаются по невидимым глазу направляющим царапинам, а законы составления ледяных кристалликов вычисляются математически».

«Что мы можем сказать о другом человеке – не отдаленном от нас временем, пространством, условиями, нет, о любом, даже близком, живущем рядом? Нам доступна лишь открытая взгляду поверхность, внешние факты, и мы толкуем их в меру своей способности и предрасположенности. Если вообще удосуживаемся толковать».

«Более того, достоверно ли мы знаем о себе сами? И почему с таким недоумением оглядываемся, обнаружив, что с нами произошло?» – записано было на другом листке, стерженьком другого цвета и, видно, в другое время, но явно в связи с предыдущим, хотя и ту и другую записи он успел с тех пор забыть – как и вот эту:

«Мы барахтаемся в потоке, не чувствуя ни вещества его, ни направления. Да есть ли оно, направление?»

Антон Андреевич нигде не проставил дат, но мог поручиться, что некоторые из этих записей разделяют месяцы! Почему, однако, он не позаботился о датах? Может, сам того не сознавая, повторял и здесь Милашевича – а теперь убеждался, как складно может все ложиться подряд, как будто так

и задумано. Вот, у него и об этом нашлась бумажка:

«Связь может устанавливаться как будто сама собой. Обернешься – кажется, что жизнь все-таки обладает единством и направлением, о котором сам не подозревал. Возвращаешься из года в год все к тому же, нечаянно уточняешь, наращиваешь все то же понимание – или все то же недоумение».

Отобрав страничек пять наиболее эффектных и самостоятельных фрагментов – мыслей, зарисовок, юмористических афоризмов – и снабдив их предисловием о Милашевиче, Антон Андреевич попробовал как-то предложить это для публикации одному журналу в Москве; прием, который он там встретил, заставил его сконфузиться. Что ж, объяснил он сам себе, на людей посторонних не производит впечатления набор перышек. Мыслишку или словцо способен выдать каждый из нас, иной раз не хуже, чем знаменитость. И образы, глядишь, приходят в голову, и метафоры, и сравнения – хоть издавай. Кто может, так и делает, печатает при жизни страницы из записных книжек или из дневника; читаешь – ан не звучит. И не хуже, чем у великих, а не звучит. Надо быть птицей, тогда и перышки заиграют. А для кого существовала такая птица, как Симеон Кондратьич?.. Наверное, не стоило так сразу смущаться и обобщать; правильной было еще попробовать в других местах, и не в Москве, а лучше сперва в каком-нибудь областном издании, подав под соусом местного патриотизма. Но с областными редакциями у Антона был тогда связан другой комплекс: ему казалось, что там требуется объяснять, как эти заметки попали ему в руки. Он все еще воображал себя чуть ли не похитителем государственных сокровищ и долго обходил даже стороной место пре-

ступления, как будто там могли хватиться украденной макулатуры. Смешно, он сам себе мог это сказать, но успокоился более или менее лишь после того, как в архиве случился пожар, да, еще один, можете, если угодно, опять смеяться; причиной было объявлено самовозгорание, и Лизавину это слово почему-то напомнило нечаянского алкоголика времен его детства, дядю Лешу; про него рассказывали, что, пропитанный спиртом, он однажды загорелся сам собой, изнутри, – кто-то видел голубоватое легкое пламя, пыхнувшее из его рта... С тех пор архив пребывал в перманентном ремонте, пользоваться им стало практически невозможно. Да Лизавину он был уже и не нужен. После защиты диссертации пошли другие дела и заботы, одно время стало совсем не до фантиков. Но какая-то неразгаданность в них не давала все же покоя, и, как уже говорилось, чем дальше, тем больше.

Он сидел иногда над этими рассыпными листками, как над пасьянсом, где колода была неохватна, а карты – непонятных мастей; чтобы сложить его, надо было что-то знать о жизни Милашевича – но томило и обратное чувство: можно что-то понять в Милашевиче, составив листки. Что значила эта рука, торчащая из кучи? этот столбец странных пар: *«мужчина и женщина, имя и человек, конфета и фантик, голос и отзвук, замысел и история»*? к чему относилось это восклицание неумемного мистификатора: *«Обманули дурака на четыре кулака!»*? о чем этот стон боли и возглас блаженства? и вопрос: *разве мы рождаем только тела?* и закливание: *«еще немного, еще чуть-чуть, и сойдется, сбудется, разрешится»*? Кто смеялся на одном листке так долго, не в силах остановиться? Чей это фантастический диагноз: *«Должно быть, там внутренний в теле порок. Каверна, тишина. Скорей всего, в голове. Потом разошлось дальше. К весне накопилось воды, потекло из подмышки»*? Кто был этот квадратный, с кривыми ножками и шишечками на лбу? *«Серп и Молот стал грозен, с ним лучше не связываться»*. Укол смещенного чувства, смещенный язык, который надо понять. *«Это входит щекоткой сквозь поры, проникает в нас с ветром, из земляного навоза, течет в волосы»*. – *«Волос, впрочем, вовсе не осталось, – пристраивалось слу-*

чайное, бессмысленное продолжение, явно не о том, но в другой раз предлагала себя другая связь, уже на что-то похожая: *«Вот В. В., до восьмидесяти дожил, и ни одного волоска седого»*... Забавно, что говорить. Можно было без конца поворачивать, примеривать сцепления, выстраивать иногда целые цепочки, но какой-то осторожный инстинкт подсказывал Лизавину, что слишком усердствовать тут все же не надо – бессмысленно, бесполезно и малость уже отдает сумасшествием. А под руку, словно дразня в ответ, тут же подвертывалось что-нибудь этакое: *«Зачем тебе туда? Разве там лучше? Но озадачивает и притягивает твердость прозрачного воздуха, и силяшься пробить его головой, проникнуть за мнимый предел вместо того, чтобы пировать в комнате, где с блюда еще не доедено варенье»*.

Строки перемешивались в памяти, выросло ощущение месива, непонятной жизни, там булькали болотные пузырьки, выявлялись нераспознанные существа, в загончиках за временными перегородками густо шевелилась живая плоть, колыхалась мякоть, соприкасалась с другой, вываливалась на улицу, росла, расплывалась, сохла, портилась, старела, переставала быть теплой, чернели на глазах стебли, сворачивались обугленные стручки, тело внутри было уже мертво, но по коже еще пробегала судорога последней самостоятельной жизни, плакал на камне герой, бледная почка раскрывала ресницы, отбрасывала решетчатую тень непонятная башня, звенели разбитые стекла, там сияли холмы и белые долины, шевелились в ущельях реки из чистого дыхания облаков, распаренная земля наливалась молочным соком, и в лунном свете кто-то приплясывал на кривых ногах, сам для себя издавая музыку, хлопал под подошвой рыбий пузырь, таяли призраки домов, ветвей, деревьев, растекались в почву белые корешки, страх и торжество, боль и восторг были смешаны, как в любовном соитии, боль пробуждала из безмолвия слова... Лизавин погружался в этот насыщенный раствор, как в воздух полудремы: что-то здесь шевелилось, коллобродило, звучал в пространстве разлитой, невыявленный голос. *Еще немного, еще чуть-чуть... вся наша жизнь была*

*невольным сопротивлением этой легкости и свободе... найти слова, чтобы сравняться с ней хоть на миг...* Бесплотные частицы, избавившись от силы тяжести, от умственных объяснений, готовы были свободно испробовать друг друга, как это дается в гениальные мгновения сна. Не хватало лишь ниточки, чтобы вокруг нее начали выделяться, выстраиваться кристаллики. Иногда Антону казалось, что он уже будто угадывает ее, надо было только ухватить ее и вынести из глубины, выскальзывающую, тускнеющую на свету, готовую исчезнуть навсегда, как засвеченное изображение – что это вроде почудилось? Но, вынырнув на поверхность и придя в себя, он с усмешкой узнавал в своей добыче не более чем слова прилипчивого куплета:

А наутро она уж улыбалась...  
Под окошком своим, как всегда,  
И рука ее нежно изгибалась,  
И из лейки ее текла вода.

А в середине груди еще отзывалось как будто гуде-е оборвавшегося конца: *«Так больно, так тяжело. Неужто не слышишь? Ну, вот же я, вот...»*

*Кого-то увидел за туманным стеклом. Еще немного ясней, и узнал бы. В нетерпении вышиб стекло, чтобы скорее понять. Там не оказалось никого – все осталось на стекле, на осколках, – попробуй теперь сложи.*

После долгого пребывания в воздухе Милашевича Лизавин возвращался в окружающий мир с чувством легкого головокружения. Комната казалась не совсем знакомой, дверь с окном как будто поменялись местами, тень двигалась своим путем по изломам пространства, отнюдь не повторяя движения твоей руки, и не замирала, когда замирал ты, бумажки на столе были далекими и мелкими от расстояния. «Металлические опилки без магнита», – записал на листке мелькнувшее чувство Антон Андреевич. Пододвинул коробок, чтобы поместить эту запись, под руку попался другой листок: «частицы в напрягшемся пространстве». Он усмехнулся чему-то, взял опять ручку и дописал, уточняя ощущение: «Силовое поле времени, линии судьбы».

### 3. Детские игры

#### 1

Так писал Антон Лизавин, сидя за столом у лампы. Свет ее оставляет неразборчивой обстановку окружающей жизни, зато с непривычной резкостью лепит лицо, склоненное над бумажками. Не сразу его узнаешь, право. То ли тени под глазами увеличивают их – нездоровые, страдальческие даже? и щеки в таком освещении выглядят запавшими. То ли борода не стрижена дольше обычного и отросла чересчур, пожалуй. Впрочем, это дело вкуса. Но вдобавок она и неряшлива малость, как будто не расчесанная однажды после бани, так и осталась сосульками – а вот это на Антона Андреевича и впрямь не похоже. Не пристрастился ли он, грешным делом?.. Ну уж, сразу! Случалось, конечно; был даже один исключительный эпизод, но именно эпизод, о нем разговор особый, и не в этом же дело. Что зря говорить. Нет, взглядимся сперва, взглядимся внимательней. Вот: бороды прибавилось, но в нее словно ушел запас волос, а залысины врезались глубже, увеличив выпуклый лоб. Постарел, пожалуй. Лицо не то чтобы красивее стало, а интересней, что ли. Складки прочертились резче, у крыльев носа и особенно между бровями – но опять же не сразу поймешь, контрастность ли это

тений или время постаралось.

## 2

Сколько, в самом деле, прошло с тех пор, как он, и. о. доцента в областном пединституте, по случаю собственного тридцатилетия с иронией, но не без удовольствия оценивал анкетными пунктами этакую скульптурную завершенность своего состояния и очевидность предстоящего пути? Можно, конечно, посчитать, напрячь арифметическую мысль, вычесть из цифр цифры. Не у нас – у него самого это потребовало бы именно специального напряжения. Даже сегодняшнее число и собственный возраст он иногда вспоминал не сразу. Для памяти прожитое время вообще сгущается неравномерно, есть пустоты безразличные и потому как бы выпадающие из счета – не в арифметике дело; а тут еще сказывалась умственная усталость от многомесячных и, должно быть, не совсем безвредных занятий: когда начинаешь вдруг говорить вслух с несуществующим собеседником и слишком знакомым становится чувство одновременности жизни, помянутое Милашевичем. Видения, возникавшие из букв, строк, снов, из игры воспаленного воображения, занимали в ней место более близкое, чем фантомы институтской поры или даже нынешняя библиотечная служба. Выстроить в ряд цепочку событий, перенесших его из одного состояния в другое, и то оказалось непросто.

### 3

Вроде и цепочки-то никакой не было. Была круговерть, растерянность, было стечение обстоятельств, может, отчасти кем-то и направлявшихся, наверняка не поймешь. Он только что похоронил отца. Андрей Поликарпыч умер внезапно, не выдержав переживаний из-за фельетона, в котором его упомянули по недоразумению. По недоразумению, то-то и оно. Может, из-за этого все остальное представлялось еще не до конца взаправдашним, еще возможным казалось что-то переиграть, отменить, проснуться всерьез. Антон ужасался своей неспособностью проникнуться сполна даже горем. Была многодневная бессонница – туман, паутина, мутная взвесь вместо мыслей и чувств. За стеной у старухи-соседки, дальней родственницы Лизавиных, жила женщина, едва знакомая по Нечайску. Антон подобрал ее на Столбенецком вокзале, растерянную, на перепутье, ушедшую с легкомысленным чемоданчиком от мужа – не к нему, он-то знал, что не к нему, но подхватил, пристроил рядом с собой на время – как будто мог объяснить, зачем и как с ней быть дальше... Нет, конечно, поиск первопричин следовало начать еще раньше – когда он зашел с Максимом Сиверсом, заезжим гостем, случайным московским знакомцем, в дом к Косте Андронову, нечайскому радиомастеру, и там оба впервые увидели эту Зою, Костину жену. То есть Антон-то ее знал еще девчонкой,

но впервые увидел женщиной, странной в своей болезненной красоте. В Нечайске знали, что эта бывшая библиотечка вскоре после замужества перестала говорить, что-то с ней случилось после гриппа, скорей всего на нервной почве, хотя кое-кто и опровергал это мнение, уверял, будто слышал, как на базаре она своим голосом спрашивала, почему чеснок. Во всяком случае, немота ее была странной: у Антона все время оставалось ощущение, что она в самом деле может и заговорить, если понадобится, просто ни разу не возникало такой необходимости, другие в ее присутствии становились говорливы за себя и за нее, даже с избытком, особенно Костя, простодушный байбак в тренировочном костюме, уже вздутом на животе, добрый малый, которого угораздило же влюбиться в женщину, непонятную и в сущности недоступную, хотя она и считалась его женой. Антон видел ее тогда единственный вечер. Он уехал из Нечайска раньше Сиверса и мог лишь догадываться, что у них там произошло, но необязательно ему было даже знать, он ведь потом сам встретил Зою на вокзале не совсем случайно, он ехал к ней в Нечайск и потом искал ее в Столбенце, хотя не сразу согласился себе в этом признаться. Это было нелепо, если угодно, безответственно – после единственной-то встречи, – у него ведь уже назревала своим естественным чередом женитьба на совсем другой женщине, вопрос был только во времени. А тут все сошлось в несколько дней – сорвалось, захватило внезапно, как смерть отца, с ней совпало, переплелось. Тогдашнее со-

стояние Антона можно было, конечно, назвать ненормальным; не в его натуре все же было искать приключений, и за звездами с неба он вроде не тянулся, вполне хватало радостей устойчивой жизни. Какие-то его поступки, движения, даже неподвижность и впрямь могли вызвать недоумение, он порой способен был дать себе в этом отчет, и тогда видел себя со стороны дураком, а ее дурочкой больной, бессловесной, красоту которой к тому же явно преувеличил. Тут, правда, не обошлось без подсказки; эти слова вымолвила за него однажды женщина, уязвленная, что ни говори, внезапной, нелепой изменой такого, казалось бы, надежного, прирученного любовника. Но эта нелепость даже облегчала ей беспристрастное понимание и уверенность превосходства.

– Ну, милый, – усмехнулась Тоня при случайной встрече. – Знала я, что мужчины бывают слепы, но ты мне казался... Нет, работать над тобой, конечно, еще надо было, но выйти что-то могло. А ведь это не по тебе, я уже вижу. Бедненький ты, бедненький.

Антон просто не ответил ей. То есть пробормотал что-то вроде: «Может быть, может быть». Он спешил на станцию, в Нечайск, куда старался ездить при возможности, чтобы надолго не оставлять маму одну. И что он мог ей ответить? Что зря она так? Что ничего и нет на самом деле, только затмение ума – глядишь, временное? Что он сам себя не понимает? Нет, в слова ничего не укладывалось. Он лишь отводил взгляд, как нашкодивший, но упрямый, не обещающий ис-

правиться щенок.

– Ты плохо кончишь, – поджала Тоня тонкие губы. – Уничтожить тебя проще простого. Только подтолкнуть. Ты ведь трус, я это тебе говорила. Но может, и того не понадобится.

Помада у нее была темная, веки подсинены по столичной моде, а кожа лица уже немолодая – Антон впервые это увидел, и во всей ее подтянутой, тонкой фигуре почудилась ему такая уязвимость. «Бедные мы все, бедные», – вот с чем он соглашался искренне.

А дома в Нечайске мама терзала его недоуменным взглядом заплаканных, выцветших глаз, как будто с обидой ожидая от него объяснения и оправдания внезапному своему одиночеству, зябкости убогого воздуха, поволоке тления на всем, куда ни ткнешься. Она всегда была убеждена, что при своих болезнях и жизненных тяготах умрет раньше мужа, почему-то ей важно было подчеркивать это, и Андрей Поликарпыч с ней вроде не спорил. Теперь она обижалась на него за то, что обошел, опередил ее, да опередил как-то нечестно, нехорошо, угодил в московскую газету безо всяких заслуг, а теперь уже и разбираться незачем, что там было – умер и уже потому оставил на семье неясную тень вины; она болезненно ощущала это городское мнение, разубеждать ее тут было бесполезно, начинались только новые слезы. Собственная смерть была ей теперь даже безразлична, как безразличен второй приз тому, кто претендовал лишь на первый. Больше всего ее заботило, как бы справиться с этим в подходящее время, не летом, чтобы не испортить Антону отпуск, но и до зимнего гололеда, который бы затруднил и даже сделал рискованным подъем от озера в гору, к кладбищу. Был однажды случай, перевернулась машина с гробом, троих покалечило насмерть вдобавок к покойнику – она боялась еще такой несурзицы. И в какой-то миг его кольнуло отчетливое

прозрение, что мамы тоже скоро не станет, и он в тоске подумал, как хорошо бы успеть раньше, чтобы не испытывать больше этой беспомощности, невозможности. То есть оставить мучиться ее – тут же уличил он себя в малодушии дезертира и устыдился.

При всем том не следовало ему остальные дела, житейские и служебные, считать пустяками и недоразумением. Тут он был не прав. Смерть и всякие там чувства – это, что говорить... и говорить нечего, только склонить почтительно голову. Но и отчет о выполнении кафедрой соцобязательств по повышению уровня тоже требовал уважения. Неясная история с бабой, которую он поселил у себя (пусть и за стеной, даже если быть точными, через коридор), породила почти мгновенно анонимное письмо в институт. Даже сразу два – во втором моральный облик и. о. доцента дополнялся таким штрихом, как появление в нетрезвом виде перед подшефным литобъединением (ерунда, что говорить, хотя, если вспомнить, он малость действительно отрыгивал – угостился перед тем у Кости бокалом советского шампанского). Упомянут был даже злополучный фельетон в московской газете, куда угодила фамилия Лизавина – хотя уже ясно было, что отец тут ни при чем, а сам Антон Андреевич тем более. Словом, с одной стороны, опять же муть какая-то, не стоила разговора. Но с другой стороны, на кафедре ждали как раз проверочную комиссию, и такие сигналы, хочешь не хочешь, портили картину, требовали какой-то галочки. Мог бы и сам понять. Его и трогать никто не собирался – даже анонимок, щадя его горе, не поминали. Собственно, и тут ничего все-

рьез не было, кроме чисто ритуальных оборотов – мог бы перетерпеть. Сколько он молча высидел таких собраний – и что с того, что Клара Ступак усталилась именно на него, цитируя тезку-классика? – «В человеке все должно быть прекрасно», – как будто Антон Андреевич особо отвечал перед Антоном Павловичем за выполнение этих щекотливых пунктов. «И лицо», – выдержав жесткую паузу, напоминала Клара Ступак, председатель месткома, а Лизавин, все еще не принимая взгляда в свой адрес, в туповатой растерянности, которой было отмечено все его тогдашнее поведение, смотрел на сослуживцев. Свет, бледный, пыльный, придавал воздуху стекловидность увеличительной чечевицы, но лица успевали привычно скрыть все, что могло в них высветиться изнутри, под поверхностью непрозрачной плоти: лишь крупные поры на сыром ландшафте, сок жирных выделений, ущелья и складки в наносах потной косметики, волоски, точно отдельные прутья, и во рту не у всех, увы, жемчуг, разве что золото (чья это картина? – лица в толпе, присутствующей при распятии?.. – ну, это уже занесло, вспомним чувство юмора; но так много стало похожих, путающих лиц; главное, глаза будто имитированы на трепетной пленке) – но кто же виноват, Господи, кто виноват, что слепой торец стены за окном загородил небо и землю, что время жизни прокисает на собраниях и в очередях за растительным маслом? Несправедливо... Нельзя с нами так. «И одежда», – переходила Клара Ступак к следующему пункту обязательств. Тут Лизавин другим за-

ведомо уступал, и осматриваться было излишне, но ведь это кто как может достать. С этим, может, еще трудней. Хорошо Кларе, она сама шьет, даже котируется как портниха, хотя стоило бы ей делать себе платья чуть длинней, чтобы прикрывать все-таки стародевические свои коленки, выпуклые, как наколенники.

Коленки! Может, именно они были причиной дальнейшего? – злосчастные коленки Клары Ступак, роковую слабость которых Антон Лизавин имел беду ненароком открыть. Медицине известны казусы, когда самые безобидные, казалось бы, участки тела обнаруживали свойства... как бы это сказать? – неожиданные. Даже нечаянное прикосновение к ним, допустим, мячиком во время игры, может произвести волнующее действие. Таким именно местом была, видимо, Кларины коленка, и Антон Андреевич допустил однажды упомянутую неосторожность. То есть без всякого мячика, разумеется, мячика у него вообще не было, просто нечаянно тронул ладонью. Ей-богу же, без всякого умысла; эта истеричка пришла к нему официально, для месткомовского обследования жилищных условий; но после такой оплошности (имеется в виду ладонь) ничего официального, что говорить, не вышло, а вышла нелепость, о которой оба предпочитали не вспоминать, хотя по разным причинам. Так что незачем было, конечно, ему на кафедральном мероприятии так упираться в эти коленки тяжелым бессмысленным взглядом, от которого она вдруг осеклась и, словно задохнувшись, не могла добрую минуту вспомнить пункт следующий.

– И душа, – подсказал Антон Андреевич. Из самых сочувственных побуждений, ей-богу. Все в той же можно сказать,

рассеянной задумчивости. Но опять же лучше бы ему промолчать, он сам это понял тут же, увидев, какая передернула ее судорога; а у всех прочих осталось впечатление намека, непристойности или вызова.

– Да! – исходила, текла в истерике Клара. – Да, Антон Андреевич, и мысли, и моральный, товарищ Лизавин, и морально-политический!..

Паутина, квасная отрыжка, дыра на пустом месте. В перерыве завкафедрой Голуб Спартак Афанасьевич удивился: «Ты куришь?» – подхватил успокаивающе под локоток, повел по коридору между мужским туалетом и кафедрой. Но сбоку посматривал настороженно, испытующе на этого новоявленного курильщика: не таит ли он за пазухой еще сюрпризов? Над дверями кафедры и туалета висели электрические часы, причем туалетные спешили на двадцать минут, а кафедральные в какой-то момент показали точное время, но по чистой случайности, ибо они вообще стояли. Станным образом тон и даже словарь их беседы менялся с приближением к одному из этих географических полюсов. «Нервы, нервы тут ни к чему, – добродушно ворковал Голуб у туалетных дверей. – О чем вообще речь? Отнесись с юмором». – «Повысим уровень юмора за пятилетку, – постарался попасть ему в тон Лизавин. – Если можно записать в обязательства моральный уровень...» – «Ты что, против соцобязательств?» – «Почему?» – сбился Лизавин; уже чувствовалось что-то не то, уже действовала близость кафедры. «Сам же голосовал». – «Голосовал, конечно». – «А если вдруг коснулось вас лично, так уж сразу». – «То есть... при чем тут «лично»?» – но уже достигнут пункт поворота, уже на горизонте туалет, и Голуб расстегивает пуговицу под галсту-

ком, облегчает надувшийся кадык. О чем в самом деле речь? Только об этом. О совпадении и рефлексе, об игре в пароль и отзыв, смысл которой: устойчивость, самосохранение, спокойная общность со всеми. «Мы всех зовем, чтобы вперед, а не пятясь». – «Чтобы в лоб, – позволяет себе поправить Антон. – Чтобы в лоб, а не пятясь, критика дрянь косила». – «Ну, этого я вовсе не имел в виду, – Голуб вновь снисходителен и благодушен, он готов на попятную; только видимость, что Лизавин уточнил не в свою пользу, главное угадано. – Мы и вы, как говорится, один коллектив». – «Особенно мы», – вдруг совершенно некстати вставил Антон; ему просто пришло на ум, какой абсурдный смысл может привнести такая добавка в любое соединение пар. Жили-были А и Б. Особенно А... Все на темы Симеона Кондратьевича. Ни к чему бы в таком разговоре. Опять возникал сбой. Может, дело было в том, что с приближением к кафедре, а не к туалету, усиливался запах приторной дезинфекции. Порок планировки, причуда вентиляции. Сбивалось совпадение в фазе, возникала оскомина уклончивости, задней мысли. Неудобство, неблагополучие, затаенная угроза исходят от такого человека. Если вспомнить, он всегда был не совсем своим на кафедре. Не участвовал, например, в приемных экзаменах, а значит, не связан был с другими деликатными доверительными отношениями. Вообще существовал сам по себе, в тени, на вид простодушный и безобидный. Черт его знает! Трещина пошла на гладком, готова была отщепиться заноза. «Ты

что, считаешь себя лучше других?» – спросил, наконец, Голуб, прищурясь. «Почему лучше? – постарался Лизавин найти ответ как можно более скромный, располагающий и успокаивающий; он ведь тоже хотел отвести неясную, но ощути-мо набухавшую угрозу. – Я просто другой. Особенный, – добавил он для юмора. И, чувствуя с тоской, что вместо юмора получается все хуже, поспешил поправиться: – Как всякий человек».

Да, это уже было совсем зря. Почему произнеслись такие слова? Антон не вкладывал в них никакого глубокомысленного подтекста. Но вдруг, по пути домой, понял, что еще недавно это вот так ненароком не выговорилось бы. Что-то с ним происходило. Так голые стволы окружены были среди весны оболочкой уплотненного, ожившего тепла, его пульсирующая напряженность готовилась потянуть в рост листы из почек. Он ощущал эту оболочку как тесноту кожи, из-за нее опрокидывал, не прикасаясь, предметы; как будто занимал больше места, чем сам думал, и вызывал к себе отношение там, где прежде проскальзывал гладко, не хуже других. Другие раньше него это почувствовали, уже выделили, раскусили, отдавали должное, уже выталкивали из общих рядов, не дожидаясь, пока сам созреет. Хотелось шевелить лопатками, чтобы изгнать неуютные мурашки. *Передернуло ознобом крыши и колокольню... Вороны под встревоженными небесами – пародия на трагический хор...* почудилась в воздухе музыка, но исчезла, прежде чем ее удалось узнать. Река несла в себе мусор и муть, щепки, бензиновую пленку и ноздреватые облака. Прошлогодня падалица между корней окончательно перегнувала в почву. Листва обновляла смысл деревьев – без них, считай, дерева сполна не было, только ствол да ветки. Более того, его нет без этой оболочки тепла,

без этой готовности и тревоги, похожей на радость, что ли? Струя воды из уличной колонки толста, как колбаса, упругий холод ее приятен языку, зубам и нёбу. Шевелятся листы сухих газет, ветер несет над землей одушевленный мусор. *Никто нас не знал, мы бежали сами, томясь оскоминой...* Стайка шумных мальчишек взбаламутила тишину криком, унесла дальше, но перетолченный воздух не успокаивался еще долго.

Дорога через детскую площадку. Девочки, прервав «классики», спорят о нарушенных законах: «Неправда, не так! Пятая проклятая, шестая золотая!» Две малявки вслушиваются с отдаления, вбирают мудрость и порядки жизни, в которую жаждут войти; у младшей золотые капельки в ушах. Мальки снуют в трепетной влаге, юркая нежная плоть, набухающие отросточки, нетерпеливость и обещание. В консервных кастрюлях каша из голубого песка, в магазине отвешивают на качающейся доске твердые камни картофеля. Богатый владелец велосипеда устанавливает очередь благодеяний. Строитель защищает от покушений свою башню из камня и песка, огрызается, отталкивает, нагромождает сверху еще немного, еще немного, сколько выдержит, чтобы наконец, дернув шнур, привязанный к основному камню, уничтожить все великолепным взрывом: «Бум-бурум-бурум, бум-тарарах!» – «Дяденька, а я, смотри, как умею! Смотри, как я, дяденька!» Тщеславие и соперничество, стыд поражения, ревность, неравенство – разве не проходим мы эту школу, когда неравны уже по возрасту, а значит, по росту, силе и могуществу? Все позднейшее прибавляет только опыта, а дяденька улыбается сверху их страстям: они для него все равны. *На ощупь, наугад, в гулкой пустоте, удивляясь и не понимая целого, с тревогой и любопытством. Мы тычемся в потемках взрос-*

лого мира, трогаем воздух, толкуем, боясь обознаться, задыхаемся на дне кучи-малы: растащи ее, дяденька, простиру руку с небес, ты еще помнишь легкими этот ужас утопленника-первоклашки, себя, придавленного толщей тел! Цветы радости на свежей траве, нежная пленка, растопыренные пальчики ловят мяч, счастьем и прелестью сияют глаза. Человеческий громадный детеныш душит пальцами тело бабочки-капустницы, лепечет любовно: «Бабочка милая, бабочка моя хорошая!» – и слово «жестокость» еще не изобретено человечеством. Боже, сколько возможностей на простой дороге, усыпанной камнями и бутылочным стеклом! Можно пройти ее из конца в конец только по кирпичам, не ступая на землю, можно собирать пивные пробки для игры или, скажем, марки, а потом, разбогатев, купить за миллион даже марку острова Маврикий, вся ценность которой создана опечаткой гравера – из-за этой опечатки шли на преступления, подделывали завещания, и кто скажет, что это обладание бессмысленней других? В глубине площадки асфальт был разрушен недавними работами, там начинались рытвины, прошлогодний бурьян, там на костре испытатели природы плавил в жестянке олово, там дарила убежище громадная бетонная труба со сколотой кромкой, а за хилыми деревцами, на железнодорожной насыпи девочки собирали в букет мать-мачеху, первые, жалкие, еще не покрытые жирной пылью и гарью города цветы, их желтизна густеет к серединке, будто стекает туда – ах, Симеон Кондратьич, вы

бы оценили, вы бы меня поняли. *За что тебе такое...* Додумать Антон не успел, проволочная пулька из деревянного оружия ужалила его в щеку. Хорошо, что не в глаз. Оглянувшись: бурьян был дремуч и пуст, своя жизнь шла там на этаже, недоступном взрослому взгляду, под кронами прошлогодних трав, в золотистых резных дебрях, где пухлый всадник несется на звере с красным ртом, помахивая игрушечной сабелькой, гордясь движением; глаза фарфорового херувима выпучены бессмысленно. Сверху кроны шевелил ветерок, улетал дальше, в трепетной дымке на горизонте высились заводские трубы, вздымались, как горы, городские ущелья и белели над ними круглые облака.

С соседями Антон старался в те дни сталкиваться по возможности меньше. Даже чай себе кипятил не на кухне, а в комнате, в электрическом чайнике. Но то и дело натыкался все же если не на них самих, то на их физически ощутимые, как бы охотничьи взгляды. В отвлеченных своих чувствах кандидат наук и не подозревал, что его уже обкладывали, подстерегали, искали способ вывести его из числа претендентов на жилплощадь старухи Лихолетовой, соседки-родственницы. Вера Емельяновна давно не покидала своей комнаты, ходить совсем не могла, почти все время лежала, но сколько она еще проживет, никто не знал – а этот и дожидаться не стал, всех, проныра, опередил. И ведь не имел со старухиной комнатой даже общей стенки, так подселил туда свою девку; теперь она ухаживала за больной, вытеснив других, имевших давние права приносить ей по утрам манную кашку да выносить горшок, не говоря уже о том, что их комнаты составляли когда-то со старухиной общую площадь, комната Каменецкой вообще была выделена из лихолетовской (по просьбе самой же Веры Емельяновны) посредством легкой перегородки; на этот счет и план старый можно было показать. Ну, с девицей-то справиться было не проблема, она пока боялась и нос высунуть за дверь, а высу-нув, помалкивала, что бы ей ни говорили в спину; но этот

мог предъявить дальнейшее родство по матери, да кандидатскую книжечку – а может, и еще какие козыри? Главное, никто не ожидал от него такой прыти. Видно, почуял, что дело близко, да эта еще, глядишь, и ускорит... Вот какое напряжение сгустилось вокруг Антона Андреевича, и он мог сколько угодно считать его химерой. Дескать, раз ему ничего подобного и не снилось, значит, этого нету на самом деле. Философ. Можно даже сказать, идеалист. Именно неправдоподобная его простоватость казалась особой хитростью. Между тем у супругов Титько уже материализовался – можно пощупать – финский гарнитур для ожидавшейся комнаты; у них шла своя работа ума. Очередь на гарнитур подошла раньше срока, но даже это прозвучало дополнительным сигналом: не зевать. Мебель загромодила коридор, выперла на кухню. Обернутая бумагой и укрытая полиэтиленовыми чехлами, она имела вид модернистских скульптур. У книжного шкафа в брюхе уже созревали готовые собрания сочинений. Отставной капитан, а может, уже и майор неизвестных войск и почетный студент исторического факультета легко преграждал Лизавину путь в тесном проходе. Ошибкой со стороны Лизавина было видеть в Титько лишь активиста-общественника уличного масштаба. Он уже приобщился к городской деятельности, к неизвестным Лизавину советам и комиссиям по народным университетам, самодеятельным оркестрам, художественным студиям, словом, по самой широкой культуре и просвещению. Попробовав себя когда-то при ученых

учреждениях в деятельности административно-хозяйственной, он явно ощутил душевную близость к современным интеллектуальным кругам и, сам будучи не дурак, при своем возрасте перспектив отнюдь не утратив, а главное, чуя новые веяния, уже спешил ускоренным заочным темпом обзавестись дипломом высшего образования, и дальше – кто знает. Он даже готовился ехать в Париж с делегацией, носил при себе разговорник и не упускал случая напомнить кандидату наук, кто есть кто, как говорят французы. Пока еще на всякий случай культурно, прощупывая сомнительного соперника. О, знал бы Антон Андреевич, в каких местах опробована была эта мягкая до поры повадка, исполненная, однако, сладкого сознания других, затаенных возможностей; знал бы он, откуда и за что загремел, не дослужив, в институтские завхозы его ближайший сосед, чтобы после короткой растерянности, испуга и обиды оправиться для нового взлета! Впрочем, может, лучше ему и не знать; он потому и не старался, предпочитая видеть перед собой фигуру анекдотическую. Слепительная сорочка с галстуком, новый костюм, сшитый по мерке (но все равно почему-то чужой на неудобно разросшемся теле). Ну как, Антон Андреич, лекции читаем? А для народа? Я имею в виду общество «Хочу все знать». Ву компрене? Это я по-французски. Надо нести в широкие массы, а не в четырех стенах, как некоторые, вы согласны? Теперь уровень общий и еще повысится. Хочу все знать – лозунг времени. Вот знаете ли вы, кстати, сколько за-

лов в Лувре? А почему в Париже хорошо спится? Ну как же, Антон Андреич, а еще кандидат. Это же общеизвестно. Потому что Париж на Сене. Вот так. И вообще, антре ну... это я по-французски... не стоило бы вам себя над всеми так возвышать. Я имею в виду других людей. Ву компрене? Ну-ну. Смотрите. Я люблю по-хорошему. Все-таки мы с вами интеллигентные люди. – О чем вы! – искренне отмахивался кандидат наук. Рядом с этим пожилым студентом, с его заграницей и сорочкой неловко было претендовать на такой титул. При запущенной-то бороде вместо галстука. Ему бы только протиснуться мимо, но попробуй! Не то чтобы он побаивался этого человека, от которого пахло портвейном «Кавказ», даже когда он пил французский коньяк, но было чувство непонятной от него зависимости. Хотелось, чтобы он относился к тебе хорошо. На кухне супруга Титько, Эльфрида Потаповна, ругалась с бывшей артисткой Каменецкой, чья уродливая такса Долли ухитрилась, несмотря на защитную пленку, нагадить внутри серванта. «Сама нагадила, дрянь паршивая!» – отпиралась Каменецкая, трогательная с оттопыренным своим мизинчиком, порхающей походкой, ярким шарфиком вокруг дряблой шеи, не имевшая пока чем ответить на гарнитур, но при надобности способная, как ее малышка, тоже показать зубки.

Пленка на мебели поблескивала живой слизью, превращая коридор в подобие извилистых кишок, кухню – в желудок, чулан – в аппендикс и все внутренности дома – в отделы некоего тела; как в средневековом анатомическом описании, в каждом шла своя жизнь, и отработанные части должны были извергнуться, освобождая место. Возле Веры Емельяновны, отгороженная от соседских ядов лишь тонкими стенками, сидела, прикорнув, Зоя, чужеродная, случайная, временная песчинка. Неожиданная роль сиделки оправдывала ее пребывание здесь, даже не позволяла тронуться дальше – нельзя было оставить больную. Антона иногда смущала мысль, что это выглядело, будто он нарочно привез ее ухаживать за старухой. Просто так совпало, что тете Вере стало хуже. Но Зоя встречала его радостной улыбкой каждый раз, когда Антон приносил им продукты (а иногда сам что-нибудь готовил). Они тоже приспособились разогревать еду в комнате на плитке, много им было не надо, и холодильник стоял тут же. В форточку завевала клейкая прохлада, она перебивала запахи болезни, дух телесных выделений. Привыкнув, можно было ничего не чувствовать, но в первый миг, войдя, Антон каждый раз заново ужасался, как Зоя проводит здесь безвыходно целые дни. Комната была тесная, со старомодной скудной мебелью и вещами. Стена против кро-

вати увешана была разнокалиберными фотографиями в рамочках – лица воспитанников, прошедших через руки Веры Емельяновны в разнообразных учреждениях, где она работала, еще два пухлых, в розовом плюше, альбома лежали на комодке, на салфетках с вышивкой «ришелье», кем-то подаренных. Такими же салфетками покрыт был стол и подушечки на продавленном диване, где спали в разные годы сироты, подобранные и приведенные ею прямо в дом, а теперь сидела, поджав ноги, Зоя, восхищавшая в своей немоте старуху умением слушать.

Приход Антона всегда прерывал ее как будто на одном и том же рассказе: про кого-то из этих детей со стены, успешших с тех пор постареть, умереть, оставить новых несмышленишек, которые в памяти все больше путались. Никогда не бывшая замужем и не рожавшая, она слишком привыкла чувствовать себя старше других; забавно было видеть, как ее называют тетей Верой старики и старушки, встречавшиеся на улице или приходившие навестить. Болезнь лишила ее подвижности; костистое некогда тело расплылось, но в путаном уме все не могла перебродить упрямая энергия времен, которым открылась было возможность окончательного устройства жизни – если б только не вмешивались обстоятельства, не сбивались с пути неудачно взрослевшие дети. Мир приютов, коммун, колоний, детских домов выглядел в этом рассказе разумней и безопасней окружающей жизни, здесь верней обеспечивалась справедливость и норма хлеба, а главное, можно было всегда вмешаться, защитить, если что, направить на путь. Бессилие начиналось, когда они выходили из-под опеки, повзрослев лишь на вид, но имея взрослые возможности и средства для всяких глупостей, несправедливостей, обид, для преступлений и войн. Тетя Вера сокрушалась об этом, как о собственной недоработке. Она, пожалуй, все больше заговаривалась и Зою иногда принимала за ко-

го-то другого, требуя вдруг подтверждения: помнишь? да ты его знала – но Антон зря боялся неловкости: та серьезно кивала, и тетя Вера не могла остановиться. Казалось, ей важно что-то объяснить, досказать неожиданной благодарной слушательнице; трудность была лишь в том, что всякая малость оказывалась слишком переплетена и перепутана с другими, не удавалось высвободить из-под навала лиц, обстоятельств, историй какую-то объединяющую мысль.

«Сейчас, сейчас», – сказала она вошедшему Антону в день, когда он вернулся после заседания кафедры – точно он явился поторопить, и она оправдывалась за задержку. «Ну что вы», – показал Лизавин великодушным жестом; лишь потом, в воспоминании, скребнули его эти слова и эта интонация. Вера Емельяновна заканчивала какую-то историю про пожар в приюте, про жестокую выходку мальчишек, заперших в кабинете директора. «Да, еле выбрался жив... Но доискиваться, кто сделал, не стал. Уж так их любил, так баловал! Карамель для малышей всегда в кулечке носил. Только нельзя было собирать в доме одних мальчишек, я ему говорила...» Лизавин слушал рассеянно, видения детской площадки стояли перед глазами, одновременная жизнь шла в детском доме, который расцвел краше прежних в губернской столице, в восстановленном и отмытом полицмейстерском особняке, ты знаешь, ну вот тот, что против «Европейской», против гостиницы, – там Вера Емельяновна встретила вскоре Людочку с покрашенными до бесстыдства губами, ту самую Людочку, что прибыла с эшелонном ленинградских дворян, ее с таким трудом удалось отучить от привычки грызть ногти; оказалось, двое детишек остались у нее без отца, вот и вздумала выходить к «Европейской» – ну что такое, говорю, Господи! Антон заметил, что тетя Вера уже очень уста-

ла, ей становилось трудно ворочать языком слова. «Сейчас, сейчас», – предупредила она его успокоительное движение, и по взгляду Зои он понял: лучше дослушать. Что-то главное оставалось все же не высказано, не давало Вере Емельяновне успокоиться. Соскакивала игла на слишком сжатых бороздках, лица теснились, как на вокзале, где безумная женщина пыталась накормить грудью, опустевшей без своего ребенка, чужого Петюню Сиротина с головой в зеленых болячках, где затерялась маленькая Надюша Бесфамильная со старческим от голода лобиком, та самая, которой соседка от злобы плеснула в лицо кислотой. Все та же жизнь смотрела со всех фотографий, прокручивалась все та же пластинка, надо было снова брать за руку неслухов, глупых, беспомощных, чтобы не одичали, не заросли грязью беспризорничества, да ведь эту же руку и кусали, бывало, вон какой шрам остался...

Рука ее не шевельнулась, она лишь думала, что показывает, и Лизавин наконец понял, что это уже бред; тетя Вера лишь думала, будто объясняет что-то, важное для них, которым предстояло без нее оставаться. Ведь я что хочу, я всегда говорю, прошу все время, парами станьте и за руки покрепче, если не понимают, милые вы мои. Нет, вечером вьюшку открыла. Один Сашуля сумел проснуться. До самой войны кашлял от угара. Это который тут в середине. Премию недавно получил. Грамоту и этот... магнитофон. С песнями... борясь и побеждая. Что за музыка, не понять. А это скорость такая. Ну, один писк мышиный. Не в ту сторону. Он с мышами опыты ставил, я смотреть не могла, так было жалко. Пустил крутиться. Быстрее, быстрее. Вперед лети. В комму-не остановка... Нет, не удавалось добраться. Красноглазые мышки дергались и замирали. Состав сквозил на ходу. Взлетала на качелях девочка в пятнистом от листвы и солнца сиянии. Может, вот это. Сейчас. Лица сидевших у кровати становились прозрачными, как занавески. Так ярко... прямо в глаза. Сейчас, сейчас. Только передохнуть.

Точно в ответ желанию, лампа, дернувшись раз-другой, стала светить вполнакала. Подбородок старухи ослабел, приоткрыв черный рот, но она еще смогла вспомнить себя и жала губы. Лицо стало строгим, удлиненный профиль Дон Кихота обращен к потолку, слеза выползла на сморщенную кожу. Возле ноздри села воскресшая к лету муха. Антон осторожно смахнул ее. Вера Емельяновна не вздрогнула, и Антона кольнул испуг. Это был испуг от мысли, что тетя Вера уже умерла, а если еще нет, то может умереть сейчас, не когда-нибудь, а вот так, на его глазах, просто, отбормотав что-то непонятное, среди дурного запаха, отломится частица жизни, исчезнет со своей заботой, нетерпением, безумием, любовью, про которые тебе останется лишь вспоминать, и не удержать, хоть вцепись, только муха будет царить на посторонней умершей коже. А ты думал? – только и всего. Но еще он поймал себя, что смотрит жадно, не отрываясь; он никогда еще не видел, как умирают – двойной испуг был от этой чужой, непозволительной мыслишки; что-то ужаснее самой смерти сквозило за ней. Это продолжалось мгновение; он уже увидел, что тетя Вера просто уснула, затихнув. Что это мне ударило? – качнул головой. Завтра врач придет. Не первый раз. Встал; колени были утомлены до дрожи, будто он помогал вкатывать в гору увертливую тяжесть. За окном,

оказывается, сгустилась темнота. Он попрощался шепотом, избегая почему-то смотреть на Зою. Хотелось курить. Слизь лабиринта белесо отблескивала в полутьме, тени шушукались на своем, может быть французском, языке. Мебель переминалась нетерпеливо: скорей бы кончилось это промежуточное томление, это ожидание перед дверьми – какой смысл оттягивать время, все равно, рано ли, поздно; вещи были готовы сами перелиться, перетечь через щели и пространство, еще занятое человеком, они лучше людей понимали равнодушие продолжающейся жизни. Боже, Боже, что же это, – не подумал, а застонал о чем-то Лизавин.

Потом он стоял на крыльце. Створки дома отгораживали двор от улиц. Веревки, протянутые между балясинами и топодем перед нужником, перечеркивали светящийся воздух; источник света существовал невидимо. Кого мы жалеем больше, думал он, умирающего или себя, которому остается горевать и страдать? Поскорей улизнуть, чтоб не вникать в свои чувства. Вспомнилось, как он рассказывал тете Вере о смерти и похоронах отца, а она всплакнула и выразилась непонятно: «Его в детстве напугали». Но Антону теперь казалось, он знает, о чем она. Она и родителей его помнила еще с тех лет – со времен Милашевича, от которых пыталась вывести какую-то связь, да все упускала. То же усилие. Еще немного, еще чуть-чуть... Ведь было даже за бредом ее что-то, он чувствовал, только уловить не мог. А может, и не следовало стараться, нельзя, непозволительно, запретно – попробуй охвати умом все, что вызревало сейчас, каждый миг, в этом холодном сочном сиянии, пока люди волновались во сне, старались спрятаться друг в друга или просто дышали, раскрыв рты, из которых пахло отрыжкой дневной еды, сладким молоком детства, юной свежестью или гнилью. Червяк скрипел, внедряясь головой в древесину. Шевелились, прорастая, язычки глянцевого листья. Пузырьки черной влаги толклись, набухали и лопались в утробном пространстве –

мириады слепых жизней присутствовали в нем одновременно, не умея, на свое счастье, толком ощутить и испугаться единственного мгновения. В квадрате окна женщина унашивала беззвучного младенца, то приближаясь в свете ночника к синтетической прозрачной завесе, то угасая в глубине. Накалялся и затухал сигнальный огонек сигареты. Внятной дрожью полнился воздух, и Антон не услышал приближавшихся сзади шагов.

– Ты? О Господи!.. Ничего не?.. Я подумал: она уснула, и тебе тоже надо... Нет, не это, мне просто стало не по себе. Не знаю... От всего сразу. А тебя там оставил, думал... нет, опять не то. Хорошо, что ты не отвечаешь, не можешь или не хочешь. – Он бормотал, стараясь подавить нарастающую дрожь; потом заметил, что и она дрожит – вышла в одном халатике, и не было пиджака, чтобы на нее накинуть. Надо было уйти в дом, поставить чайник, согреться, но оба все стояли на крыльце, и он обнял ее за плечи, чтобы стало хоть немного теплей, и говорил, говорил, чтобы унять дрожь – слова помогали, они приходили без усилия, сами. *Слова от боли* – то есть порождаются ею? или могут ее заговорить? *Сравнить с собой это беззвучное, разлитое в воздухе...* Вспыхнула зарница, вновь показалось что-то ясным, но тут же погасло. – Почему-то вспомнилось, как маленьким испугался один в пустом доме, думал, никто за мной уже никогда не придет. Страх потерянности. И еще знаешь, на чем себя сейчас словил? Что я хочу понять жизнь, хочу в ней что-то почувствовать, постичь, но я боюсь ее испытывать. До сих пор все надеялся что-то объехать на кривой... на юморе, уме, на воображении. В этом тоже есть своя правда. Был один человек, он объяснял, что иные вещи надо оставлять профессионалам. Забой скота, например. Или обхождение

с мертвецами. У них приспособлены чувства, им ничего. – Почему вдруг вспомнился Симеон Кондратьевич? Все казалось тогда связано: ночь, тетя Вера, ее недосказанная тревога или избыточная забота, вспышки зарниц и листки Милашевича в комнате, куда они наконец вошли, не выдержав зябкой прохлады. Чайник стоял на включенной плитке, но при таком накале вряд ли мог скоро закипеть. Стены дрожали в ознобе, и они прижимались друг к другу тесней, и он все говорил, чтобы она не исчезла – не заметив, в какой миг стал бормотать уже не вслух, про себя: все совершалось само собой, с ними, но не их усилием. – Вот так, вместе легче, ведь и тебе тоже? И тебе. Люди тянутся друг к другу, чтобы не так страшиться потерянности. Чтобы укрыться, прижаться, вжаться. Страшно, о да, но мы ищем проникновения, чтобы за ним успокоиться. Мы тянемся к успокоению, как к концу, и лампа сама собой гаснет, ненужная, и время растекается лунным соком, разливается музыкой, благодарностью и восторгом, нежностью скрипки и нежностью смычка... Вот так. Как все теперь просто. Даже, странно – что почудилось там при свете зарницы? Чем смутилась душа? Теперь вот все взаправду, с заправдашними заботами и проблемами, конечно, да это уж ладно. С этим как-нибудь справимся. Мама все говорила, что не дождетя внука. Почему ж не дождетя? Дождется. Теперь надо представлять и устраивать реальную жизнь с этой настоящей, незнакомой в сущности женщиной, которую ты перехватил и увлек, когда она не тебя искала, –

ну что уж теперь; вот замерла, уже не дрожит, даже не шевельнется – женщина, которую ты видел прежде разве что в библиотеке, не сказавшая с тобой до сих пор ни слова, так что все удивительное, необыкновенное, что привиделось тебе, может, было порождено лишь твоим же чувством?..

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.